



НИКОЛАЙ КОРОТЕЕВ

ЦИКЛОН НАД САРЫДЖАЗ







НИКОЛАЙ КОРОТЕЕВ

**ЦИКЛОН
НАД САРЫДЖАЗ**



**ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ
ПОВЕСТИ**

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1976

Коротеев Н. И.

K68 Циклон на Сарыджаз. Приключенческие повести. М., «Молодая гвардия», 1976.

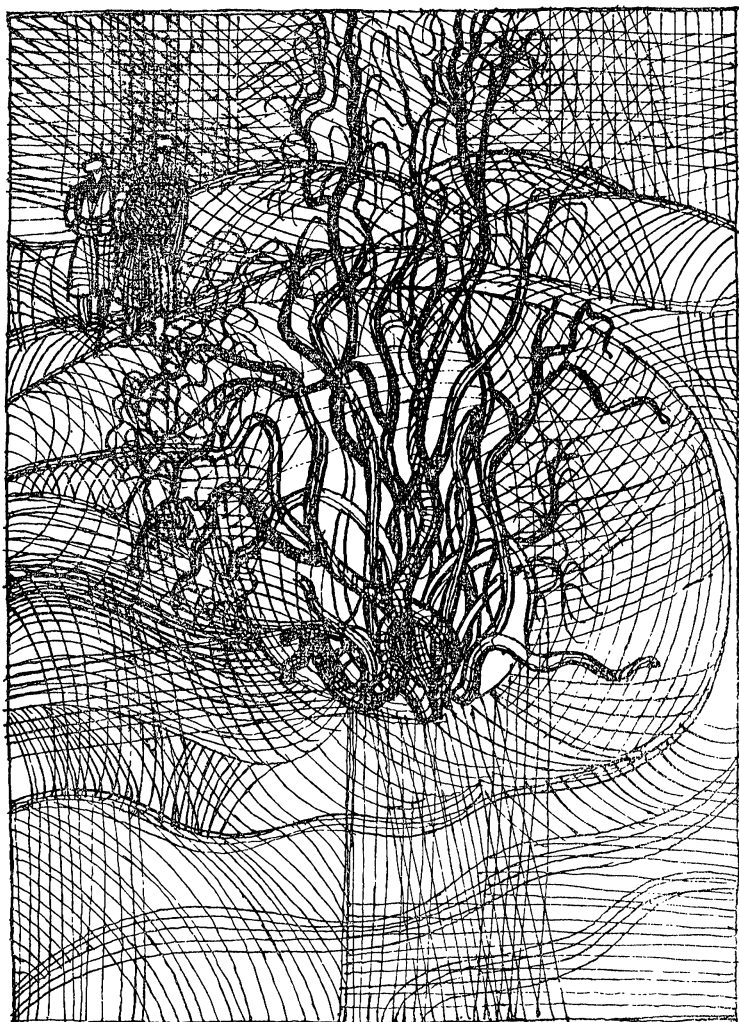
208 с. с ил. (Стрела.)

Повесть «Циклон над Сарыджаз» посвящена чекистам Киргизии, работавшим в годы Великой Отечественной войны. «Крыло тайфуна» — произведение об участковом инспекторе милиции Семене Шухове, его борьбе с браконьерами в дальневосточной тайге.

P2

К 70302—270
078(02)—76 269—76

ЦИКЛОН НАД САРЫДЖАЗ



Встретился я вчера с Хабардиным. С Василием — моим старым другом, тоже ветераном. Он, как и я, здесь, во Фрунзе, живет. Болеет все еще Вася. Тридцать лет... Нет, больше прошло с тех пор, когда мы с ним вдвоем преследовали целую банду...

Вон на бульваре, под старым таким карагачем, — скамеечка. Ее хорошо отсюда, из гостиницы, из номера, видно. Там и повстречались.

— Аманты, тамыр Кошбаев, — говорит Вася.

— Здорово, друг, — отвечаю.

Присели на скамеечку. Помолчали.

Мы с ним всегда так — сядем, молчим. А потом мне многие-многие дни не дает покоя история о том преследовании.

В ноябре сорок третьего года это было...

Я возвращался во Фрунзе из Южной Киргизии. Ехал поездом очень долго, помню, суток трое: через Ташкент, Талас... Рана всю дорогу покоя не давала. В бедро меня легко ранили, навывлет. В горах мы ликвидировали одну из банд. Тогда я занимал должность начальника отдела по борьбе с бандитизмом Наркомата внутренних дел Киргизии.

Во Фрунзе размещалось много госпиталей. Человек на костылях был в городе не редкость. Однако идти по родной улице самому, опираясь на подпорки, как-то диковато. Поезд пришел поздно вечером, от вокзала до дома, где тогда проживал, всего два квартала по бульвару Дзержинского. Так что добрался я быстро, не встретив никого из знакомых.

Уж редко в каком окне горел свет, бледные уличные фонари скупо бросали желтые пятна на асфальт. Снег не выпадал, хотя и морозило.

Пройдя под высокой аркой во двор, я удивился, что окна моей квартиры темны, но во всех комнатах горел свет у моего товарища по работе, старшего оперуполномоченного отдела ББ Макэ Оморова. «Значит, и он вернулся», — подумал я. Попытался припомнить, не приходилось ли на эти дни больших семейных праздников, — вроде нет... Решил зайти на огонек, кстати, и о делах узнать. Мои жена и дочь, поди, у Оморовых; и то, что я ранен, жена на людях примет спокойнее. Оморов жил на этаж ниже нас, на втором.

Подошел к двери, нажал кнопку звонка. Дверь тотчас распахнулась, словно меня ждали, — и на пороге жена Оморова. Лицо заплакано, одежда в беспорядке. Увидела меня на костылях, заголосила, схватилась за волосы:

— У-би-ли... Макэ убили! — и опустилась на пол, прижалась щекой к косяку. — У-би-ли!

— Как это — убили? — оторопел я. Спросил или не спросил — не помню, но саму мысль — невероятность происшествия — отчетливо осознаю; будто мой друг Оморов, веселый, улыбчивый человек, являлся бессмертным, и гибель его — противоестественна. Хотел помочь жене Оморова подняться — не могу. И понять не в состоянии, почему не могу. Никак не соображу — костыли не дают нагнуться.

В глубине коридора вижу свою жену, дочь.

«Вот почему темно в наших окнах...»

Жена смотрит на меня, рот ладонью закрыла — заплакать боится: где уж ей-то плакать, я-то, хотя и на костылях, но жив, жив все-таки, а вот Оморова уже похоронили. Тут не горе — беда!

Помогла моя жена подняться вдове.

Спрашивать женщин о чем-либо, понимал, бессмысленно, откуда им знать, что случилось со старшим оперуполномоченным отдела ББ.

У меня язык к гортани прирос, слов соболезнования не найду. Да и что сказать? Дело такое, солдатское... Что ж еще скажешь? Идет война. Сколько раз Оморов, да и я просились на фронт, в Панфиловскую дивизию. Иван Васильевич Панфилов, погибший в 41-м году под Москвой, был перед войной военным комиссаром республики. Близкими людьми не довелось с ним быть, а знать друг друга знали. И в числе двадцати восьми панфиловцев, остановивших фашистские танки у разъезда Ду-

босеково под Москвой, были бойцы многих национальностей. Ведь дивизия формировалась в июле 1941 года в Алма-Ате. Дня не проходило, чтоб газеты не рассказывали о подвигах сынов Казахстана и Киргизии, Узбекистана и Таджикистана...

Трудно понять чувства командира, который лишился боееспособного, умного бойца. Оморов являлся именно таким. Сколько раз выходил он невредимым из безвыходных, казалось, положений. Сколько раз в схватках с бандитами он проявлял завидную выдержку и смелость. Да что говорить... Узнав о гибели Макэ, о том, что его уже похоронили со всеми воинскими почестями, я не мог представить себе ситуации, в которой бы Оморов так обмшшулился...

Я должен был узнать все о происшедшем.

— В наркомат пошел... — сказал я жене, хлопотавшей около вдовы Оморова, и, едва не запутавшись в костылях, стал спускаться по лестнице.

Оперативники рассказали мне: погиб в схватке с бандитами не один Оморов, но и участковый уполномоченный Сокульского района Ненахов. Тяжело ранен Коломейцев, председатель колхоза «Камышановка». Узнал я и о том, что Оморов успел много сделать по установлению личности преступников. Ими оказались братья Исмагул и Кадыркул Аргынбаевы. Об их отце — Аргынбаеве — мы были наслышаны достаточно. Он в начале тридцатых годов и возглавил одно из крупных в Средней Азии кулацких восстаний. После разгрома восстания предводитель был расстрелян, а дети-малолетки воспитывались у дальней родственницы, проживавшей в Сарысуйском районе Джамбулской области, соседней с Таласской областью Киргизии. Детей Аргынбаева, конечно, не искали. Братьев, когда пришел срок, призвали в армию. Но они дезертировали в 1942 году, предались волчьей жизни: скот резали, баранов, лошадей, терроризировали население в округе. Оморов считал, что толкнул их на путь бандитизма невесть откуда появившийся младший брат отца, дядя Абджалбек.

Многое успел узнать Макэ. Немало помогли ему жители тех мест. На заключительном этапе операции Оморов выследил банду, устроил засаду в камышах, но сам вместе с товарищами попал в сеть. В последнем донесении Оморов подробно останавливался на разработке операции и в ней не упустил ничего. Однако случай есть

случай. Не подставлял же я нарочно себя под пулю, и проводник не предполагал, будто можно так быстро и ловко забраться на скалу, откуда стреляли в меня. Борясь с вооруженным врагом, надо считаться с неизбежностью потерь...

В странах, сопредельных с советскими Среднеазиатскими республиками, в годы второй мировой войны заметно ожили пронемецкие настроения. Их подогревала довольно густая фашистская агентура... Считалось даже, что взятие гитлеровцами Сталинграда может послужить сигналом к активным военным действиям на среднеазиатских границах.

Но последовал разгром фашистов на Волге, провал наступления на Курской дуге. Вот тогда немцы стали использовать своих агентов, старые басмаческие связи без разбору, лишь бы хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь досадить тылу нашей победоносной армии. И то сказать, немного и лет прошло со времени ликвидации массового басмаческого движения. Не могли люди, ненавидевшие наш строй и лишь смирившиеся с властью бедняков, вдруг переделаться, не желать нам зла, а сыновья бандитов осознавать неправоту казненных отцов.

За полночь уже попал я на прием к наркому республики, поднялся мне навстречу Павлов и только руками развел:

— Ты же докладывал — легко ранен! А сам на костылях, да и я нахвастал...

— В чем дело, товарищ нарком? — спрашиваю.

— Прощин из Москвы звонил, — отвечает Павлов. А генерал-майор Прощин тогда возглавлял главное управление по борьбе с бандитизмом Наркомата внутренних дел страны. — Вот я ему и сказал, — продолжил нарком. — Мол, Кошбаев вернулся, ему и поручим дело Аргынбаевых...

— Согласен, — говорю.

— Куда ж это ты — на костылях! Тебя в госпиталь надо. И спорить нечего. В госпиталь! — и разговор вроде заканчивает.

— Простите, товарищ нарком...

— Слушаю, — неохотно согласился Павлов. Наверное, думал, уговаривать стану и ныть, мол, отдайте мне дело, справлюсь.

Только я другую тактику избрал.

— Скажите, пожалуйста, товарищ нарком, каким образом здоровый мужчина, которому на фронт надо, начнет по районам бродить? А?

— Плохо, конечно... Сразу засекут. К своим, таким же работникам, приведут.

— Вот, вот... Раз приведут, два приведут — пропала операция.

— Ты к чему, Кошбаев, клонишь?

— А если пойдет по пустыне хромой... Скажут — раненый с фронта вернулся. На поправку. Он и гуртоправом может назваться, пастбища зимние искать... — Это мне тут же в голову пришло, какой профессии должен быть человек, что на поиск отправится. — Подозрений никаких — ходи, спрашивай, пастбища ищи, с людьми всякими разговаривай, расспрашивай, никто не догадается. А? Товарищ нарком...

— Ой, хитришь, Абдылда... — рассмеялся Павлов.

— Все как по нотам...

— Почему ты решил, что профессия гуртоправа — самая удобная?

— Кормов в колхозах мало. А поголовье все-таки увеличивается. Все это знают. Получается, нужны новые пастбища. Где их искать? На землях малоосвоенных. А малоосвоенные земли и малозаселенные. В тех районах должны скрываться люди, которые боятся попадаться на глаза другим.

— Резонно... Но я обязан запросить Москву. — И нарком поднял трубку аппарата ВЧ.

Павлов, соединившись с Прощиным, довольно долго объяснял начальнику главного управления ББ Союза ССР мою просьбу, отвечал на вопросы о состоянии здоровья. Было похоже, что разговор складывается не в мою пользу.

— Вот, давай, сам поговори с генерал-майором... — и нарком передал трубку мне.

Пришлось все объяснять сызнова. Наконец Прощин спросил:

— Скольких людей возьмешь с собой?

— Одного... — не желая вступать в спор с начальством, сказал я.

— Одного? — недовольно пробасил генерал.

— Не стадом же ходить. Не годится.

— Трое — это стадо?

— Для пустыни — подозрительное стадо.

— При чем тут пустыня? Они не пойдут в пустыню. Что им там делать? — сердился генерал.

— Это так говорят — «пустыня». Там пастбища. Зимние. Все поголовье там — овцы, лошади. Там по-волчьи можно нападать и уходить в пески Ветпак-Дала, Муюнкумы, в тугаи Кокуйских болот.

— А как ты их узнаешь, этих Аргынбаевых? Оморов, если и видел их, то последним...

— Попытаюсь достать их фотографии, товарищ генерал.

— Фотографии?! Самонадеянно, товарищ Кошбаев... Вам не кажется?

— Братья Аргынбаевы лет двенадцать проживали в одном месте, у родственницы. Вряд ли молодые парни утерпели, чтоб не сфотографироваться. Хоть единожды...

— И они оставили эту фотографию для вас. Специально, может быть? — ирония звучала и горько и справедливо.

— Может быть... — я попытался отшутиться. Но про себя оставался уверен — есть фотография и находится в Сарысуйском районе, у родственницы, про которую написано несколько слов в донесении Оморова. Оттуда, от аила, от дома родственницы, надо начинать операцию. Женские уши, если хотели слышать, знают почти все об их намерениях. Наше дело — разговорить женщину, будь она почтенной апа или Джебз-кемпир, ну бабой-ягой.

— Слишком много фантазии, Кошбаев, — сказал генерал. — Однако тебе на месте виднее. Лишь вдвоем с напарником пойдешь?

— Да, товарищ генерал.

— На костылях попрыгаешь?

— Первое время на костылях, потом с тросточкой...

— Сколько нужно времени, товарищ Кошбаев?

— Не знаю...

— Учти, их ищут оперативные сотрудники обеих республик: и ваши, в Киргизии, и в Казахстане. Обе республики будут помогать тебе. Три месяца даю. Ни дня больше. Брать живыми. Особо главаря — дя-дю их, Абджалбека. Братьев Аргынбаевых само собой. Помни, жизнь каждого человека, которого ты вольно или невольно привлечешь к операции, на твоей ответственности. На твоей!

— Ясно, товарищ генерал...

— И еще учти — желательно и на заключительном этапе обойтись без стрельбы, без войск, хотя неизвестно, сколько бандитов в шайке. Слышишь, постарайтесь без единого выстрела. Телеграмму-подтверждение разговора и приказ о тебе по команде всем райотделам высылаю тотчас. Понял?

— Так точно, товарищ генерал.

— Приступайте, товарищ Кошбаев.

Раненая нога огнем горела, но в наркомате я еще держался. Решался вопрос о напарнике. С собой я решил взять Васю Хабардина. Невысокого такого, щуплого парня. Павлов сначала не понял — почему Хабардина? Ему хотелось придать мне кого покрепче. Только я снова свою линию потянул, мол, Вася может сослаться на слабые там легкие и этим объяснить, почему не в армии.

— Нам с ним надо застраховаться от явных подозрений в дезертирстве. Доведись нам встретиться с бандитами, пусть они думают что угодно, но мы не должны походить на здоровых, сильных людей. Кто знает, как им придет в голову нас проверять, коль мы здоровые. Не на грабеж же нам идти, не на разбой.

— Убедил, убедил... — согласился Павлов. — Действуй. Только не зарывайся и помни: от райуполномоченных НКВД до начальников отделений милиции в районах — все будут знать о тебе, о том, что ты выполняешь задание. Не зарывайся... В смысле, не отрывайся, но действуй на свой страх и риск. И мне нужно хоть раз в неделю получать о вас с Хабардиным сведения.

— Последнего обещать не могу, товарищ нарком.

— Однако постарайся...

Да, в наркомате я держался... А вот вышел, добрел до Дубовой рощи. На ногу ступить не могу, пошевелить и то боль дикая. Сел на скамейку у памятника героям гражданской войны, и такая тоска меня взяла по моему товарищу, старшему оперуполномоченному, весельчаку и балагуру, душе всякого нашего сборища, вечеринок, по Макэ Оморову...

Горло сдавило, да слез нет. Нет слез, и вздохнуть не могу — перехватило дыхание. Откинулся я на спинку скамьи, в небо смотрю: сквозь корявые сучья дубов видны облачка мелкие, луна их просвечивает насквозь, а самое ее не видно — блеклое пятно за туманом. На зем-

лю тени от деревьев не падают, но ветви и стволы, опавшие листья на газонах будто червленое серебро — пала изморозь.

Поклялся я сам себе — живыми возьму Аргынбаевых. О своей смерти не думал, не существовала она для меня. Пока мы живы, ее нет, а когда приходит она, нет нас. Домой пришел с тяжелым чувством, будто в гибели Оморова виноват и я. Наверное, так оно в чем-то и верно: когда погибает подчиненный, начальник его непременно ощущает вину — он его воспитал, он его послал на задание, и спрос у командира прежде всего с себя самого.

С Хабардиным Васей встретился утром. Человек он спокойный, выдержанный, настоящий чекист, потомственный. Выслушал он меня и тоже засомневался, найдем ли мы фотографии Аргынбаевых у их родственницы. Путь не близкий — около Голодной степи она жила. Не потеряем ли только время?

— А как мы иначе узнаем братьев в лицо? — ответил я вопросом на вопрос. — Оморов их явно видел, да его уже не спросишь. Выяснить, как они выглядят, в Камышановке? Пожалуй, только настожишь их. Аргынбаевы могут иметь там своего человека. Ведь выдал кто-то им сведения о готовящейся засаде!

— По-моему, Оморов поторопился, — заметил Хабардин, — не стоило идти в камыши даже на засаду. Подход к ним открыт. В тугаи никто не войдет незамеченным. Хотя бы и ночью.

Не согласиться с Васей я не мог. Однако у Оморова могли быть причины торопиться. Кто знает, почему опытный работник так поспешил?

Подумав, Хабардин согласился со мною:

— Случай, что мы найдем фотографию, пожалуй, совсем и не случай... Нет в аилах парня, который устоял бы перед искушением сфотографироваться...

На следующий день мы получили в канцелярии документы гуртоправа и бухгалтера алма-атинской конторы «Заготскот», по которым нам отныне придется проживать, на оружейном складе по четыре гранаты-«лимонки», запас патронов, экипировались. Выдали нам по валенкам, поношенные зимние пальто, черные, длиннополые. После офицерской формы гражданская одежда казалась не столь неудобной, сколь непривычной.

К вечеру мы уже толкались в вокзальной толпе у

кассы, провели ночь на скамье, перезнакомившись с доброй сотней торопящихся куда-то по своим делам пассажиров, удивлялись про себя, какие, в сущности, мелкие причины позвали их в дорогу. Поезд ушел только утром.

Через сутки езды вышли мы на пустынном полустаночке — глинобитная хижина, около — штабель шпал, тут и фонарь допотопный, а к нему верблюд привязан. Вместе с полутчиками еще сутки добирались пешком до аила. Они рассказали нам о всех пустующих землях на сотню километров в округе, а также посоветовали, где и у кого лучше всего остановиться. Среди названных адресов оказался и адрес старухи Батмакан, дальней родственницы Аргынбаева, той, что приютила братьев. Батмакан, говорили они, женщина одинокая и обрадуется любому человеку, особенно вернувшемуся с войны.

— Почему? — спросил Вася Хабардин.

— Она двух своих приемышей отправила на фронт. И все никак не дождется от них весточки. Уверен, неделю она будет вас расспрашивать только о том, как вы ехали на войну и не попадались ли вам по пути солдаты, похожие на ее Ису и Мусу. Потом примется расспрашивать о войне, потом о дороге в родные места после ранения и все о приемышах выпытывать.

— Что ж они, такие приметные? — спросил я у разговарившегося спутника.

— Нет. Обычные парни. Ни красивее, ни дурнее других. Только ведь и насадка среди всех желтых цыплят узнает своих желтеньких. Если остановитесь у нее, так уж скажите, мол, видели вы ее красавцев. Ну, похожих на них. Я же не прошу врать, — заметив протестующее движение Хабардина, добавил наш доброхот. — Старуха Батмакан будет в вас души не чаять. Да и нам, односельчанам, станет полегче. Старуха Батмакан и сама извелась и нас замучила. Ходит по селу с утра, спрашивает, кто в райцентр поедет, это чтоб на почту зашел. А чего заходить каждый день? — и совсем тихо: — Старый Джолдошбек по секрету говорит, внук ему написал, будто и не в армии ее приемыши... Сбежали они, написал ему внук. Только потихоньку говорит, боится Джолдошбек — выцарапает ему старуха Батмакан глаза за такие слова или за бороду при всех оттаскает аксакала. Она такая — старуха Батмакан.

Мы с Васей переглянулись, поохали и поахали, се-

туя на злые языки. Но наш спутник больше ничего не добавил к своему рассказу о приемышах Батмакан. Нам сказанного им было достаточно.

С неделю мы прожили у старухи Батмакан в ухоженном, светлом и чистом саманном домике, огороженном добротным дувалом. Не лежебоками были приемыши старухи. Она ласково звала их Иса и Муса. От соседей мы слышали, что учились братья прилежно, в колхозе работали хорошо. Правда, последнее время перед отправкой в армию что-то случилось с ними. Они стали злобными, драчливыми. В городе новый человек — песчинка среди песка, в аиле — гора среди гор. В аиле помнят, с какой ноги поднимался твой дед в понедельник, с какой — в пятницу, и можно ли было попросить у бабки огня, чтоб разжечь очаг, или она не даст уголька и при пожаре. В общем, мы узнавали, что могли, о приемышах Батмакан. Люди интересовались нами.

С утра мы уходили в горы смотреть свободные пастбища, возвращались поздно, советовались с председателем колхоза, как лучше использовать уголья, чтоб не помешать местным чабанам. В правлении сталкивались со множеством людей, вели долгие неторопливые беседы. Постепенно, слово за слово, подтверждалось замечание в донесении Оморова о появлении в селе дяди приемышей. Ага, догадались мы, побывал тут Абджалбек. Батмакан же пока о нем словом не обмолвилась.

Долго было бы рассказывать, сколько обстоятельнейших разговоров стоило нам провести, чтобы соседи догадались передать Батмакан, мол, нам известно о приходе дяди к «сиротам». Больше того, мы точно узнали о существовании альбома у Батмакан, в котором находились фотографии приемышей. Но апа нам его не показывала. В аиле не принято помещать фотографии на стенах.

Нам нельзя было выглядеть слишком любознательными. Пришлось быть терпеливыми, настойчиво говорить о всяких пустяках, не проявляя излишнего интереса к Исе и Мусе. Но в то же время поторопить старуху Батмакан с решением: мы начали собираться к отъезду.

Войну апа представляла себе вроде междоусобицы айлов, в которой все друг друга знают, и нет большого труда найти, кого тебе нужно. Конечно, расстояния большие и людей больше, но не может же быть так, рас-

суждала она, что совсем невозможно найти человека на войне. Надо просто знать о нем все. Найденный примет ищущего, как друга. Это самое важное, считала старуха Батмакан.

Была она женщиной крошечной, юркой и очень отзывчивой на доброе слово. Она действительно расспрашивала нас, не видели ли где мы ее приемышей и скоро ли поедет на войну. Едва не через час я приговаривал, что гуртоправом работаю временно, если меня, конечно, не комиссуют по ранению.

— Мало ли встреч бывает на военных дорогах! — сказал я однажды. — Вдруг увижу ваших приемышей, привет от вас передам, Батмакан-апа. Только вот как я их узнаю?

Старуха прослезилась:

— Правду сказать, люди добрые, не приемыши они мне, а очень дальние родственники. А раз воюют, то не в отца пошли.

— Что ж у них за отец такой?

— Аргынбаев...

— И-и... когда это было, что имя Аргынбаева навело страх на бедняков, — заметил Вася.

— Но ведь было... — печально покачала головой старая Батмакан. — Я добру их учила. Воспитывала как настоящих мужчин!

«Понятно, — подумал я. — Они воспитывались в старых родовых традициях! Тогда, конечно, не пришлось Абджалбеку долго уговаривать Исмагула и Кадыркула мстить за отца, который разорил тысячи семей и убил тысячи людей, чтоб вернуть себе стада и табуны!»

— Разве я учила их злу, когда внушала почтение к старшим рода, старшим в семье, аксакалам? А они, как два барашка, побежали за старым козлом Абджалбеком. Худой он человек. Настоящий басмач. Не думала я, что он появится... Не думала...

Старуха Батмакан говорила искренне, мы не могли ей не верить.

— Не знаю, так ли добры люди, чтоб забыть и не желать мести детям. А фотография мальчиков у меня есть. — И старая Батмакан полезла в кованный сундук, достала со дна его ветхий, как она сама, альбом с медными пряжками и передала нам снимок двух парней — Исмагула и Кадыркула.

— Вот Исмагул, — показала Батмакан на круглолицего щекастого юношу. — А это Кадыркул.

Я пристально вглядывался в лица парней на любительской фотографии. Один, тараща глаза и полуоткрыв рот, замер в каком-то напряженном ожидании, другой глядел в объектив недоверчиво, сбочь, точно готовился вот-вот удрать.

— Исмагул — тот вроде телка, а Кадыркул — упрям, своеволен... — проговорила старуха Батмакан. — Бедные дети... Бедные дети...

Странными были ее последние слова, и странным взгляд, словно передавала она в наши руки не фотографии, а живых приемышей.

Я спросил:

— Неужели другие родственники не интересовались судьбой мальчиков?

— Абджалбек, младший брат Аргынбаева, — ответила старуха Батмакан. — Их дядя.

— Виделись они?

— Здесь... Здесь Абджалбек кричал на меня, топал, называл лгуньей, обманщицей. Дядя рассказал им, кто их отец, и призвал мстить за его смерть, если в жилах мальчиков не вода, — глухо ответила Батмакан. — Потом в доме словно погас очаг. Мальчики не разговаривали со мною. Затем их призвали в армию. Чтoб не позориться перед людьми, я не пошла их провожать. Они не обняли бы меня на прощанье... Как два барашка, побежали братья за старым козлом Абджалбеком.

Да, вот уж поистине мертвое схватило за ноги живых. Схватило и уволокло по-волчьи, во тьму прошлого, в бездну преступления. Во время суда над главарями восстания Абджалбека не помиловали. Отбывая наказание, он лишь обматерел в ненависти, бежал из лагеря и снова стал на путь борьбы с Советской властью.

Расставшись с Батмакан, мы поехали в город Джамбул, где встретились с местными работниками отдела ББ области и Казахской республики. Они заверили нас с Хабардиным: нет братьев Аргынбаевых ни в городах, ни в селах области. Если они и скрываются, то только в Кокуйских болотах.

Это местность, где река Чу, давшая название всей долине Киргизии, впадает в пески пустыни Муюнкум. Слово «кокуй» перевести на русский язык очень трудно. Оно имеет ряд значений. В устах женщины — возглас

безмерного отчаяния. В названии местности понятие можно перевести как «окаянное», «проклятое место», «гиблое».

Что ж, пойдём в эти болота. Они как раз находятся на север от Джамбула.

Дорога к Кокуйским болотам через пески Муюн-кум — самая короткая. Конечно, мы слышали, что она и самая трудная. Но, желая побыстрее выполнить задание, мы поспешили отправиться пешком напрямик. Спозаранку облачились мы с Васей в свои цивильные пальто, бросил я костыли, и мы отправились в сторону гор. Это скорее высокие холмы, чуть повыше меня ростом.

Два дня понадобилось нам, чтоб выйти к пескам Муюнкумов. Муюн — по-казахски «шея». Выходит, пустыня называется «пески, как шеи». Когда мы миновали перевал и пустыня открылась нашему взору, до пепельного горизонта, сразу вся, я подумал, что снег запорошил стадо верблюдов на ночевке. Ветер сдул снег с песчаных всхолмлений и барханов, а они — желтые и серые на белом фоне заваленных сугробами чурот — межбугровых понижений — действительно походили на верблюжьих шеи. Так и торчат из-под снежного покрова эти «шеи»: одна к одной.

День шли мы на север среди «песков, похожих на шеи», вернее, через лабиринт меж длинных холмов. Идти по гребням не позволяя пронизывающий на двадцатиградусном морозе ветер.

Серая пыль маревом висела над песками. Она забила нос и глотку, засыпала глаза, жгла и слепила.

В чуротах, межхребетях, висела та же пыль. Подкарауливали зыбуны — тонкий слой обледенелого песка, скрепленного кое-как корнями, а под ним — крепко соленая, незамерзшая вода. Я провалился едва не по пояс. Вася с превеликим трудом помог мне выбраться. И только, пожалуй, ледяной панцирь, тут же покрывший одежду, уберёг меня от обморожения.

В сумерках под темным пологом низких сизых туч мы заметили в предгорьях искорку. Посмотрел я в бинокль — костер горит. Мы вернулись, держа путь на огонь, стараясь маскироваться в складках меж песчаными гребнями. Трудно пришлось. Снег сыпучий, глубокий, песок и того хуже — скатываешься по сухому

потоку. Наконец мне удалось разглядеть, что у костра человек сидит. Охотник — один-одинешенек — свежевал сайгака.

Мы подошли.

— Салям алейкум! — сказал Вася Хабардин, считавшийся прекрасным знатоком казахского языка, говоривший, как утверждали, без акцента.

— Здравствуйте, здравствуйте... — Охотник в шапке, подбитой и отороченной лисьим мехом, лишь голову поднял, продолжая заниматься своим делом. Был он ни молод, ни стар, тугие щеки лоснились от жара костра и жира, глаза глядели спокойно, доверчиво, с любопытинкой.

— Мы тут пастбище для скота ищем... — опять сказал Вася.

— Хорошо, хорошо... Есть пастбища. Зимние пастбища.

— Хотим напрямик к Кокуйским болотам выйти.

Охотник бросил свежевать сайгака, принялся смотреть на нас, наклоня голову то к одному, то к другому плечу.

— Как охота? — чтобы прервать затянувшееся молчание, спросил Хабардин.

— Здесь не бывает плохой, — ответил казах и рассмехался. — Через Муюнкумы на Кокуйские болота?

— Да... Пастбища посмотрим. Негде пасти скот...

— Ходили тут?

— Нет.

— А у вас все дома? — посерьезнев, спросил казах. — Тут на сто тридцать километров в округе нет питьевой воды.

— Вы-то ходите... — заметил Хабардин.

— Я знаю, куда хожу. Волка бью, лису бью, сайгака на мясо бью. Тут я свой. А как вы пойдете?

— Прямо... — сказал Хабардин.

— Утонете в болоте. Зыбучий песок. Людей нет. Кто поможет?

— Что ж, совсем людей нет?

— Месяц хожу — днем ни дымка, ночью ни огонька. Отсюда далеко видно. Люди не могут без огня. Нет тут людей, совсем нет. Если не хотите пропасть — возвращайтесь. Не верите? Кого угодно спросите, вам ответят: «Жасып вам правду сказал». И нога у тебя болит, тянешь за собой.

— Мы подумаем, — кивнул Вася.

— Думайте... Каурдак будем делать, воду пить — чаю нет.

— У нас есть. Мы вам пачку дадим — скажете, как идти?

— Вы люди добрые, видно. А каурдак я нажарю на пятерых. Только давайте сначала чай пить. Возвращаться вам надо. Нельзя тут идти, болота, зыбучий песок.

Охотник, пока грелся котелок с водой, нарубил прямо на шкуре печень, селезенку, легкие, кишки, чтоб приготовить каурдак.

Жасып пил чай, обжигая губы о кружку, прихлебывая и шипя от удовольствия, а в котелке уже кипело нутряное сало, распространяя запах ливера, жарились потроха — каурдак.

Я прикидывал и так и этак — охотник прав. Мы поступили опрометчиво. А судя по встрече и разговору, в песках Муюнкумов действительно нет людей. Во всяком случае, поблизости, а обследовать всю пустыню не хватит и года. Нам же дан срок всего три месяца. Не только на обнаружение банды, но и на ее ликвидацию.

Двое суток мы не ели горячего, не пили чай, потому что не разжигали костров. Огонь оповестил бы на сотни верст: кто-то новый пришел в Муюнкумы, посторонний, которого, может быть, следовало опасаться. Двое суток делили воду по глотку, питались ледяными консервами, и сейчас запах свежего жареного мяса приводил нас в восторг.

Нет ничего разумнее признать собственную ошибку, но нет ничего, пожалуй, и труднее.

Утром мы попрощались с охотником и скорым шагом отправились обратно в Джамбул. Мы, рассчитывая отоспаться в поезде, не стали на ночевку и где-то в середине второго дня были уже на вокзале, пропитанном угольной гарью, едкой и сладкой на морозе. За время пребывания в пустыне наша одежка приобрела тот колоритный вид путешествующих — пыльный, мятый, замызганный, что мы совсем не отличались от других, отмахавших, может быть, не одну тысячу километров. При проверке документов наши справки не так убеждали солдат, как иловая и меловая пыль песков Муюнкумов, крепко пропитавшая нашу одежду. Сутки протолкались мы на вокзале. И только на вторые, дождавшись темноты, мы залезли в тамбур вагона, открыв

трехгранным ключом дверь. Вася разведаль, будто поезд идет до Луговой, а оттуда то ли в Алма-Ату, то ли в Караганду. Это уже было не важно. В любом случае мы не минуем станции Чу, откуда идет узкоколейка в сторону Покровки (ныне Фурмановка). Она-то и расположена на краю Кокуйских болот, в устье Чу, впадающей в пески. Болота, в свою очередь, отделяют пески Муюнкумов от пустыни Бетпак-Дала. Как это ни странно может прозвучать, но чем реже плотность населения, тем больше информации о нем. В городе мы очень редко знаем даже имена детей в доме напротив.

Едва мы миновали два разъезда, в тамбуре появились контролер и проводник. Они удивились нашему проникновению в поезд. Привычно взяли штраф за безбилетный проезд. Потом контролер почему-то пригласил нас в служебное купе и запер там. Вскоре они пришли с лейтенантом НКВД.

— Документы, — потребовал он.

Мы протянули справки.

Он прочитал их, оттопырил нижнюю губу:

— Такой документ любой дезертир на ходу сделает. Придется вас задержать до выяснения. Может, ты и не ранен? А? — И, обернувшись к проводнику и контролеру, добавил: — Высадим на Луговой, сдадим в линейное отделение. Там разберутся.

Контролер и проводник кивнули и ушли довольные.

— Может, сами признаетесь?

— Может... — сказал я и достал служебное удостоверение.

Лейтенант вскочил, взял под козырек:

— Извините, товарищ подполковник.

— Не за что извинять, товарищ лейтенант. Вы правильно поступили. Но нам надо доехать до станции Чу. Позаботьтесь. И никому ни слова.

Худа без добра не бывает. И хотя мы «попались» бдительным людям, зато, «арестованные» и запертые в купе лейтенантом, могли отоспаться и отдохнуть.

На продуваемой насквозь всеми ветрами станции Чу стояли штабеля корявых саксауловых дров. Их свозили сюда по узкоколейке из лесхоза, расположенного в песках. Конечно, когда лесхоз закладывали и высаживали едва не каждое деревце в чуротах и на песчаных буграх, не думали, что придется их под топор пускать. Да вот война заставила.

Часа два выбирал я в штабелях саксаула палку, чтоб опираться в пути, пощадить раненую ногу.

Без особых приключений добрались мы до 101-й остановки, так называлась конечная, где паровозик заправляли водой.

Гас короткий декабрьский день, хмурый, морозный и ветреный. До Гуляевки осталось тридцать пять километров. Мы решили преодолеть их за ночь. Думали, ветер успокоится. Но он разыгрался еще пуще, гнал по песку последние снежинки, задержавшиеся в песчаных складках свея. Тьма грозила стать непроглядной. Отойдя примерно на километр от 101-й остановки, мы едва различали втопанную ногами людей и лошадиными копытами снеговую стежку, кое-где переметенную уже узкими песчаными языками.

Ветер усиливался, в морозный воздух поднялся мелкий песок. Он сек кожу до ожога. Пришлось Васе прижать к щекам руки в перчатках, словно шоры надеть.

Неожиданно стало светлеть. Я не сразу понял, в чем дело. Светился вроде сам воздух, ставший упругим от быстрого движения.

Наконец мы вошли в первое на нашем пути понижение меж высоких песчаных бугров — чурот. Порывы проходили выше нас, отчетливо слышался шелест, мягкий и звенящий. Сделалось видно, что над хребтами веет светлая, отделенная от темного неба седая полоса поднятого ветром песка. И стали видны звезды. Я огляделся и оторопел. Огромная медная луна стояла за нашей спиной. На ее фоне, как на круглом щите, рисовался старый, чуть не в обхват, саксаул с гривой ветвей и веточек, которые будто от ужаса торчали в разные стороны на изломанных судорогой, скрюченных сучьях. Дерево стояло поодаль и все целиком помещалось на ржавом лунном диске. Потом в глубине чурота замаячило много деревьев. Светлокорые, они светились на фоне темного песчаного бугра, будто призраки.

Через несколько километров на повороте мы неожиданно увидели луну перед собой. Она висела высоко, стала маленькой и очень яркой, такой яркой, что иссеченным пылью глазам было больно глядеть на нее.

Пар от дыхания отливал радугой в лунном свете.

И тут в глубокой тишине мы вдруг слышали высокие голоса. Переглянулись и пошли в ту сторону. Вскоре говор споривших, видимо, людей стих. Потянуло

горьким дымом костра из саксаула. Мы свернули в соседний чурот и увидели в затишье меж кружевных саксауловых ветвей костер. Вокруг сидело несколько человек. Разношерстно одетые: кто в шубе, кто в шинели, кто в пальто, разных шапках от казахского колпака, подбитого мехом, до ушанки армейского образца. Они тупо смотрели в огонь. Подошли мы поближе, заметили за кружком мужчин двух русских женщин в демисезонных пальто, полушалках и обуви не по сезону — ботах. В ботах в такую-то погоду! Они устроились, скукожившись за спинами мужчин, занявших лучшие места около тепла.

Даже судя по одежде — городские. Не здешние, эвакуированные. Вид интеллигентный. Пожалуй, учительницы. Как они оказались среди дезертиров? Не спросишь. Почуют пятеро, что мы не их поля ягода, расправа коротка. Мы и пистолетов достать не успеем. Да если мы и сладим с ними — куда поведем под конвоем? В милицию. И раскроем себя. Не знаем мы, где Аргынбаевы. Пока их здесь, кажется, нет. Но могут появиться. Может быть, эта группа — часть банды?

— Нужно быть понахальнее, — сказал я Васе. — Понадобится — прикрой.

— Только шепни, на всякий случай, чтоб не обмшультиться.

— Ты тоже.

— Само собой.

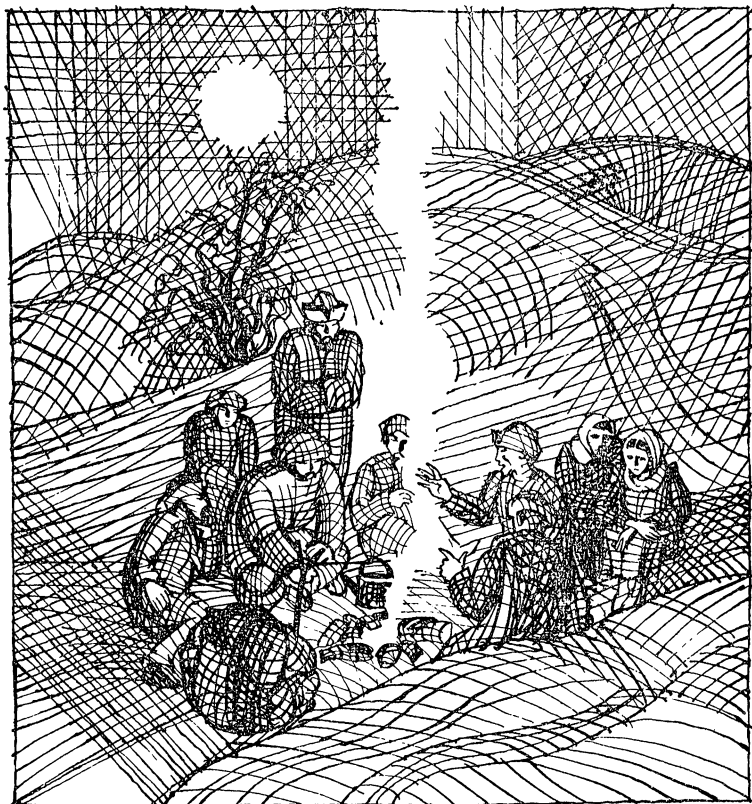
Мы вступили в круг света от костра.

Заметив нас, мужчины заговорили меж собой, бросая на меня и Васю подозрительные взгляды. Больше всего их внимание привлекла моя увесистая палка. Однако, убедившись, что мы в гражданском и винтовок у нас нет, мужчины успокоились и равнодушно закивали в ответ на приветствие. Встрепенулись и женщины. Именно встрепенулись, но, увидев нашу доброжелательность по отношению к мужчинам, вновь скукожились, пытаясь прикрыть полами пальто окоченевшие ноги.

Где-то поблизости слышалось шакалье влаивание и вытье.

— Что вы за люди? — спросил я. Судя по тому, что все пятеро были призывного возраста, мы наткнулись на дезертиров, объединившихся в шайку.

— А ты НКВД? — усмехнулся старший среди мужчин. — Кто сами?



— Гуртоправ и бухгалтер. Пастбища ищем.

— Это вон им рассказывай! — сказал старшой, мотнув головой в сторону женщин.

— Они здесь откуда? — спросил я.

Никто не ответил. Молчали и женщины. Вглядевшись в лицо каждого, я убедился: нет среди сидевших у огня ни Исмагула, ни Кадыркула Аргынбаевых.

Старшой спросил:

— Еда есть?

— Немного есть.

— Садитесь, — милостиво разрешил старшой. Во всякой своре есть пес, который первым скалит зубы да лает. Был такой и здесь — крупный, в непомерном халате, поверх шинели, доброй шапке на лисьем меху.

Мужчины послушно потеснились, давая нам место у костра.

Мы вытащили из вещмешков по лепешке и по две банки тушенки. Я быстро вскрыл их и подвинул к огню. Старшой, закрихтев, потянулся к банке, схватил, принялся заскорузлыми пальцами выковыривать мерзлое мясо и громко чавкать. Двое других из шайки тоже взяли по банке. Надо думать, и они поступили по праву старших. Но когда очередь дошла до четвертой, я сказал:

— Нет. Это для женщин.

— Посмотрите на него — он женщин любит! — хохотнул старшой с набитым ртом. — Женщин любит!

Плечистый верзила явно лез на рожон. Он понимал, что в стае голодных и малодушных верховодит тот, кто либо силен и может достать еду, либо тот, в чьих руках мясо и хлеб.

— А тебя что, отец родил? — тихо спросил я.

Никто из сосунков не поддержал старшого. Кто бы они ни были, в них еще осталось воспитанное с детства чувство уважения к женщине — матери, сестре. Видимо, эти вчерашние мальчишки еще не опустили окончательно.

— Зачем чужих матерей обижаешь? — уверенно продолжил я. — Враги тебе эти женщины? Почему не накормить.

— Самим нечего есть. У тебя в мешке консервы... Я видел...

— Не твое дело. Что дали, то и ешь.

— Больно храбришься, колченогий! — повысил голос старшой.

— Заткнись! — крикнул я. — Эй, подвиньтесь, пусть женщины сядут ближе к огню.

Парни, сидевшие против меня и не сводившие взгляда с тушенки, повиновались. Я толкнул в бок Васю. Тот сказал женщинам по-русски:

— Двигайтесь к огню. Сейчас мясо согреется.

Женщины молча покорно втиснулись в круг сидящих у огня. Стащили зубами городские перчатки с пальцев, потянули к углям красные, опухшие, скрюченные от мороза руки. Одна из женщин, помоложе, всхлипнула, не поднимая лица. Другая глядела, не мигая, на огонь огромными запавшими голубыми глазами, тусклыми от бесконечного отчаяния.

Я понял: гони мужчины этих женщин от себя плетью, они не уйдут. Сильнее страха перед людьми был ужас городских жительниц перед пустыней. Кто мог отпустить их одних? Что заставило самих пойти на риск и отправиться в путь через пески?

Саксаул горел споро и жарко.

Консервы запаровали, согрелись. Я отломил по четверти лепешки и протянул их женщинам, подвинул к ним банку. Они безучастно приняли еду, жевали, словно машинально, может быть, потому, что на них смотрели голодные глаза окружающих.

— Ешьте, ешьте! — подбадривал их Вася по-русски.

— Бабы сытые... В Ленинграде все сожрали — сюда приехали, — пробурчал старшой и уставился на меня щелками глаз, наблюдая. Он хотел, ждал, чтобы я сорвался.

Очень захотелось мне отвести женщин подальше да и швырнуть гранату во всю эту свору.

— Сытые они! — зло ощерил зубы старшой и, распахиваясь, заорал: — В Ленинграде продукты сожрали, сюда объедать приехали? Нам самим есть нечего! — и к нам: — Забирайте баб, жалельщики, и убирайтесь! Только консервы оставь, колченогий...

Не сводя с меня глаз, плечистый мужик нащупал около себя суковатое саксауловое полено, вскочил:

— Давай сюда еду!

Подсвеченный огнем костра, взъяренный, обросший верзила с занесенным дрыном был страховиден: сверкали белки его вытаращенных глаз.

— Еду давай!

Я тоже взялся за палку, прикидывая шансы на быстрый успех схватки. Мне нужен был только успех, решительный успех, чтоб остальные не успели выступить на стороне верзилы.

— Ну! — и старшой шагнул ко мне.

Пришла пора ответить, но только словом:

— Шакал ты вонючий, не человек!

Правой рукой я поднял палку над головой, чтоб отразить удар, левой — выхватил из костра полуобгоревший сук. Шепнул Хабардину:

— Вася, прикрой... — и поднялся.

Плечистый казах ринулся на меня.

Палкой в правой руке я отбил удар. А левой — с маху, движением всего корпуса врезал горящим концом полена меж глаз распалившемуся старшому. И снова занял выжидающую позицию.

Заверещав, верзила завалился навзничь.

— Ну! Кто еще? — гаркнул я.

Двое, что с опозданием выхватили поленья, бросили их обратно в огонь. Сели как ни в чем не бывало.

Женщина с голубыми глазами сказала вдруг:

— Они лошадь нашу съели.

— Правильно сделали! Нечего одним шастать по пустыне! — зло ответил я. Что оставалось делать?

Вася стал поправлять взятым поленом развалившийся костер. Было слышно, как шуршали сучья и звенели сгребаемые угли. Глухо ныл побитый верзила.

Чтоб разрядить обстановку, я достал из вещмешка еще две банки консервов и поставил разогревать: следовало накормить и тех, кому не досталось ни куска. А себе дал слово — непременно передать в руки милиции всю шайку, хотя такое совсем не входило в наши планы и затягивало поиски Аргынбаевых.

Когда пятеро дезертиров насытились, я сказал Васе:

— Пойди и возьми халат у верзилы. Женщины всем замерзают. Я думаю, возражать никто не станет.

Удовлетворенно порывивая, мужчины молчали.

— Вот видишь, — заметил я. — Все согласны. И шинель, и теплый халат — многовато на одного.

Хабардин прошел к бывшему старшому, прилегшему в стороне от всех. Тот, ропща, стянул халат, но не сопротивлялся. Вася укрыл халатом плечи прижавшихся друг к дружке женщин. Они словно не заметили этого.

Большого для них мы сделать не могли.

Мы спали с Васей по очереди, опасаясь внезапного нападения.

К утру пошел снег, немного потеплело. Стих ветер. Небо, затянутое низкими тучами, было беспросветно, тоскливо.

Оклемался после дурацкого бунта старшой. Глаза его заплыли под натеками крови, он был будто в огромных, в пол-лица густо-фиолетовых очках. Что ж, с волками жить — по-волчьи выть, по-волчьи грызться. И страдать по-звериному — в одиночку.

Весь день прошел в ленивых разговорах — куда двигаться, да и зачем. Определенной цели ни у кого не имелось. Из вскользь брошенных слов стало известно: большинство парней дезертировали из Тасаральской рабочей дивизии, жаловались на самодура начальника, а жили до войны в Караганде и окрестностях.

— В те места и надо подаваться. Там родня... — заметил я парням. Видимо, так думало большинство, считая, мол, дома и солома едома. Оставалось решить, где переправиться через реку Чу. В низовьях находился мост, по которому шла дорога на Гуляевку. Однако переходить по нему гуртом — обратить на себя внимание, а в одиночку боялись. Кто-то заметил, что есть еще паром выше по течению. На нем и скопом не так страшно.

Ночью пошли в сторону парома. Бывшего старшого вел поводырь. Когда увидели черную, в белых заберегах Чу, поняли — рухнула надежда. Паром сорвало и унесло. Наверное, лед намерз на нем, и трос не выдержал тяжести, лопнул.

— Надо ждать, пока станет река, — сказал я. Ко мне уже прислушивались, что вызывало резкий отпор со стороны старшого. Но я делил консервы, хлеб, и остальные считали по праву — власть в моих руках.

— С голоду подохнем, — возразил все-таки бывший старшой. — Сколько же ждать надо?

— Дня два при таком морозе.

— У тебя целый мешок с консервами?

— Прокормимся... — сам не зная, на что надеясь, бодро ответил я.

Мы ушли от реки в саксауловый лес, забрались в глухую чуроту, развели костер. Женщин уже не прогоняли от огня. Но сколько они ни грелись, ни ку-

тались в халат, душа у них не оттаяла. Они ходили за нами, словно привязанные, и молча, будто немые.

К ночи сильный ветер разогнал тучи. Ударил такой морозище, что мы с Васей продрогли — в валенках, зимних пальто и шапках. От огня было нельзя отойти ни на минуту — перехватывало дыхание.

В чуроту поналетела уйма сорок и галок. Они черными плодами усеяли ветви и, нахохленные, выглядели необычно крупными.

Отходя за дровами, я обратил внимание — они не улетали при приближении. Стоял такой холод, что они не могли подняться, сидели, втянув головы в перья.

Взяв свою палку, словно дубинку, я сбил несколько сорок, свернул им головы и отнес к огню.

— Тьфу, тьфу! — заплевался бывший старшой, узнав, в чем дело, и забормотал по-казахски ругательства.

— Подожди плеваться! — потроша тушки, остановил я его. — И аллах не проклинал эту живность. Чего ж ты с грязными словами лезешь?

Насадив тушки на прут, как на вертел, я принялся жарить их на углях. Последнюю банку консервов прикончили еще засветло, да и что одна банка на девяти-рых продрогших? Организм на холоде требовал тепла и тепла, и где его взять, как не из пищи. На белых от жара саксауловых углях птицы жарились быстро. Первую съел сам, подавая пример другим, а за второй руку неожиданно протянула женщина с большими голубыми глазами. Лица другой я так и не видел. Она все эти дни плотно куталась в платок, ела, отвернувшись. Когда же к дичи потянулись мужские руки, я вложил в них увесистую палку:

— Иди, добывай еду сам.

И мужчины пошли и набили много сорок и галок, жарили их, ели, лица стали довольными, языки развязались, хвалили меня за находчивость и смекалку. Я ж готов был жевать хоть дохлятину, лишь бы удержать шайку от похода на мост, где могла стоять охрана, с которой непременно произошла бы стычка. И в чью бы пользу она ни закончилась, нам с Васей подобное приключение не сулило ничего хорошего. Успех дезертиров означал убийство охраны — никто не смог бы их удер-

жать от крови, и кто бы мог поручиться тогда за судьбу женщин в дальнейшем. Одно преступление влечет за собой другое с неизбежностью закона тяготения. Возьми верх охрана — мы с Хабардиным оказывались бы опять-таки в глупом положении.

Дезертиров требовалось сдать в руки властей, да так, чтобы они и думать не посмели о нашей тайной миссии. Главное, вытащить эту свору, еще не совершившую много крупных и особо опасных преступлений, на другой берег Чу, где жилье, фермы, зимующие отары, и обезвредить там.

Только через двое суток река Чу стала. Мы подошли к ледяному мосту. Была волчья ночь, метельная и пасмурная. Женщины плелись, как всегда, позади. У них сильно распухли от мороза ноги, и каждый шаг давался им с огромным трудом. Они же даже не постанывали, не то, чтоб жаловались.

Я ступил на лед. Он держал, но предательски постреливал. Через несколько шагов под валенками на темной корке расплывались белые звезды. Пришлось вернуться.

— Не пройдем... — сказал бывший старшой, здоровенный плечистый казах.

— Переползем... — отрезал я. — Веревка есть?

— Вожжи...

— Сойдет. И пояса снимем и свяжем.

— Провалимся и утонем. Здесь, похоже, глубоко, — опять ввязался здоровенный.

— Я первым пойду, а вас перетаскивать стану.

Связывая вожжи с поясными ремнями, я спросил как бы между прочим:

— Откуда у вас упряжь?

— Она наша... — сказала женщина с голубыми глазами. — Нам ее вернуть надо...

— Заткнись, — бросил бывший старшой.

Я понял, что шайка напала на женщин, когда они ехали из Гуляевки на железнодорожную станцию. Лошадь съели, подводу бросили, а вожжи по-хозяйски решили забрать. Не понимая казахского языка, учительки сначала пошли за мужчинами, думая, что они все-таки выведут их ближайшей дорогой к станции. А потом остались, боялись пойти одни и заблудиться.

Вскоре мы отыскивали на реке самое узкое место, не

переметенное снегом. Я знал, что под снежным наметом лед особенно тонок.

— Держи конец крепче, — сказал я Васе, — вытащишь в случае чего, — лег на лед и не то пополз, не то поплыл по похрустывающей корке.

Добравшись до противоположного берега, я крикнул Васе Хабардину, чтоб он закрепил веревку, и другие стали переползать по льду. Первым отправился здоровенный детина, бывший старшой. Ледяной мост трещал под ним отчаянно. Опасаясь пускаться по ослабевшему «настилу» остальных, мы сменили место переправы. Когда все перебрались, двинулись по пескам, поросшим мягкой осокой, в глубь пустыни. Довольно скоро почувствовали сладковатый запах кизячного дыма, и ораву уж нельзя было сдержать.

Сгорбленные, руки в рукава, дезертиры ввалились в огороженный дувалом двор фермы. Я думал, там много людей, а оказалась одна старая женщина. Она вышла из низкой саманной хижины и со страхом смотрела на нас.

В углу около коровника лежали четверодохлых телят.

Я спросил скотницу, где остальные работники фермы.

— За начальством поехали, — ответила она. — Акт на падеж составлять. А зачем вы женщин мучаете?

— Случайно прибились. Уведите их в дом, — попросил я. — У них ноги обморожены, помогите растереть, дайте чаю.

— Хорошо, хорошо... — закивала она.

На минуту я оставил ораву без присмотра, а они уж развели костер, достали котел, разделали дохлого теленка и стали варить мясо.

«Хоть кости для акта останутся, — подумал я. — И то добро, это за дохлого принялись. Что им стоило пару живых разделать. Совесть заговорила? Или, будучи сами сельскими жителями, знали они, что скотнице крепко придется ответить за добро, и пожалели ее? Кто тут разберется...»

Пока шайка пировала, мы с Хабардиным сидели на корточках у дувала поодаль. Неожиданно во двор вошла молодая женщина, остановилась, увидев нас.

— Кто такие? — и попятилась за дувал. Я за ней.

— Ты кто такая?

— Айше. Телятница.

— Куда ходила?

— К мосту.

— Это далеко?

— С полчаса ходу.

Я оглянулся. Верзила сидел спиной к нам. А остальные были заняты едой.

— Зачем ходила?

Айше замаялась:

— На той стороне реки ящур. На мосту милицкий пост. Я постовым кипяток носила. Они мне на заварку отсыпали. Возьмите. — Она явно боялась, что отберу чай силой.

— Сходи-ка снова. Скажи, чтоб сюда шли. Срочно.

— Вы меня посылаете...

— Бегом, бегом!

— А эти... — она кивнула в сторону телятника, — скот не порежут?

— Иди побыстрей. Я присмотрю.

Насытившись, дезертиры потянулись в теплый телятник спать.

Молодая женщина выскользнула за ворота. Помогло, никто из оравы и не заметил ни ее прихода, ни ухода. Крепко они устали, да и перенервничали при переправе, сон теперь их одолел. Вызвал я из телятника Васю, рассказал, в чем дело...

Милиционер прибыл примерно через час. Я велел ему арестовать нас вместе со всеми и отправить в районное отделение милиции.

Увидев нас в проеме двери с поднятыми руками, а позади милиционеров с наганом, пятеро дезертиров сдались без сопротивления. С ними топали мы под конвоем тридцать километров до райцентра. Нам-то что, а вот женщины-ленинградки совсем ослабли, ковыляли, опираясь друг на друга, отставали, и приходилось подолгу поджидать их...

Не могли мы даже поддержать ослабевших женщин. Спасибо милиционеру — он, охраняя нас, шедших стадом, следовал позади. И с дезертиров не сводил глаз и женщин нет-нет, да поддержит.

Прятали мы с Васей друг от друга глаза, да ведь иначе-то поступить не могли. Не имели права! Дезертиры бы тотчас догадались — не те мы, за кого им себя выдали, и по-прежнему неясно оставалось, связаны они с бандой Аргынбаевых или нет. И еще — нас арестова-

ли вместе с ними. Значит, не поверила милиция, что я и мой спутник — гуртоправ и бухгалтер, пастбища ищем.

Добрались мы наконец до райцентра. Доставили нас в отделение милиции. Оказалось, начальник — мой хороший знакомый — Шарипов. Мы учились вместе в высшей школе в Коканде. Увидел он меня среди дезертиров, но виду не подал. Первыми нас с Васей Хабардиным отправил в отдельную камеру. Обругал нас кавалерийским рыком — и под замок. Остальных рассадил, нас к себе в кабинет вызвал. Дверь плотно прикрыл, смеется:

— Здорово испугались?

— Еще как. Душа в пятки ушла! А ты не изменился, Шарипов.

Коренастый, плотный, как и подобает отменному кавалеристу, мой товарищ по учебе до сих пор носил шпоры и любил потверже ступать на пятку. И на стуле сидел прямо, словно в седле при выезде.

— Что с женщинами?

Посуровел Шарипов:

— Мы их вторую неделю ищем. Учительницы они из Гуляевки. Поехали за учебниками на железнодорожную станцию Чу. И пропали. Ветер — следы замело. Ни их, ни лошади, ни брички. Спасибо вам — выручили. Я учительниц к врачу отправил. Поморозили они ноги.

— А эти ухари откуда взялись? С бандой Аргынбаевых не связаны?

— Не знаю еще. Откуда шайтан принес эту банду? Чабаны напуганы. Мы день и ночь в разъездах от одной отары к другой. Вроде тихо, а все в напряжении.

— А в стороне Балхаша тоже тихо?

— Нет. Дней десять назад, сообщили нам, группа бандитов напала на один из табунов Бурылбайтальского рыбтреста, рабочего отряда теперь. Он на северо-западной оконечности озера находится. Бандиты забрали в табуне, что пасся в степи, девять племенных жеребцов. И будто ушли в сторону Кокуйских болот, откуда и явились.

Я хорошо представил себе, какова обстановка в наркоматах внутренних дел Киргизии и Казахстана, как там клянут нас с Хабардиным и других оперативников. Но прежде всего нас. Мы же поклялись, можно сказать, ликвидировать банду, но ничего пока не сделали.

Где банда совершит новый налет? Что предпринять? Ведь войсковая операция по задержанию и обезвреживанию банды в условиях пустыни и Кокуйских болот — вещь нереальная. Каким образом можно прочесать непроходимую топь, которая раскинулась на несколько тысяч квадратных километров? Откуда проводников возьмешь?

— Ты мне вот что, Шарипов, скажи... Есть ли на болотах хоть один житель? Человек, который там постоянно находится, а не охотиться ездит?

— Есть. На западной стороне болота, на краю, есть такой человек. Дядей Ваней зовут. Но я с ним не знаком. Далеко это, километров сто пятьдесят от нас.

— А поточнее?

Шарипов связался с Гуляевкой. Дежурный сказал, что все в разъездах по отарам. Обещал к завтрашнему дню уточнить, где обосновался дядя Ваня.

— Нам ждать некогда, — сказал я. — К утру мы на месте будем. С твоей помощью. Как ты думаешь, есть в банде люди, знающие болота?

— По нашим сведениям — нет. Там люди из Тасаральского рыбтреста, ну, рабочего отряда.

— Опять из Тасаральского, — не сдержался я.

— Неладно что-то там. Слышал, несколько человек ушли оттуда и явились в Бурылбайтальскую, мол, возьмите к себе, мы не дезертиры, работать хорошо будем.

— Ладно... Пусть воинское начальство с дисциплиной разбирается. Мы пойдем к этому «дяде Ване». Помочь не сможет, так посоветует.

Так вот, отдохнули мы в камере и ночью на верблюдах отправились на западную сторону Кокуйского болота. Не только ночью, но и под конвоем. Для работников милиции военная тайна так же свята, как и для любого военнослужащего. Откуда Шарипов мог знать, что в райцентре нет людей Аргынбаева? Если бандиты пошли на крайнее злодеяние во время войны, они обязаны были позаботиться о собственной безопасности. Не могли они даже в мыслях допустить, что останутся безнаказанными, что их не ищут настойчиво, прилагая все возможные способы и средства.

На дворе стояла не осень сорок первого, а зима сорок третьего. Наши войска одержали не одну крупную победу над немецко-фашистскими захватчиками, освободили Киев и ворвались в Крым.

Что и говорить, настроение у нас тогда было не из лучших. Всю ночь и день качались на верблюдах. Давно я на них не ездил, а дело требует привычки. Укачало нас крепко, слезли с «кораблей пустыни» и едва ногами перебирали. Добрались же мы до Гуляевки, но в село не заходили. Дальше решили пешком идти, по южному краю болота, по едва приметной тропке. Поблагодарили Шарипова и отправились...

Отходить от тропы мы не рисковали — не знали местности. Миновали пески, пошли степью. К утру увидели дымок вдаль, юрту — добрались до пастбища.

Старший чабан, почтенный аксакал, сидел на лошади и мерно похлопывал камчой по голенищу мягкого сапога в старой остроносой калоше. Тулуп, словно попона, прикрывал круп кобылки, и она выглядела совсем крошечной.

— Бумаги есть? — строго спросил он. — Кто такие? Мы подали свои документы.

Аксакал придирчиво осмотрел их, держа вверх ногами, подозвал девчушку:

— И ты посмотри.

— Печати есть, Абай. Один — гуртоправ, другой — бухгалтер из Алма-Аты. А в Гуляевке они не были. Нет отметки.

— Отдай бумажки, — махнул рукой аксакал.

Пока беседовали, два подростка и пятеро женщин молча толпились у входа в юрту.

Нас пригласили войти, чаем попотчевали, а потом аксакал и говорит:

— Не обижайтесь, дорогие гости... Уполномоченный НКВД нас предупредил: появятся у вас незнакомые люди — обязательно задержите и сообщите мне. Не подчинятся — палками в землянку загоните и держите там, пока не придут.

А мы-то чаевали... В юрту набились старики и женщины с посохами чабанскими. И поняли мы: не подчинись, сделай лишнее движение — схватят нас рогулками за горло, а другие дубасить начнут. Не входил в наши расчеты такой конфликт с местным населением.

— Ладно, — говорю, — ведите нас в землянку. Пока уполномоченный из Гуляевки придет, отоспимся.

В задержании был один успокаивающий момент. Не за страх, а за совесть выполнили чабаны просьбу

уполномоченного НКВД. Не бывало тут людей Аргынбаевых. Иначе с нами обошлись бы по-другому, не стали чаем поить, сразу в землянку засадили.

Мы добровольно спустились в темную нору в земле, перекрытую тростником. Завалились прямо на пол, на камышовую подстилку. Аксакал еще долго о чем-то говорил, опустив за нами дверь, сплетенную из прутьев. Чабаны выбирали меж собой наиболее толкового человека, чтоб тот привел уполномоченного как можно скорее. Они все-таки опасались, посчитав нас за бандитов, сдавшихся в надежде на скорую выручку.

Помянули чабаны и про нападение на табун в Бурылбайтальском рыбтресте. Настроение женщин-сакманщиц оставалось воинственным, они требовали гнать нас в Гуляевку, а не держать здесь.

Аксакал успокоил их:

— Документы у них есть. Под подозрение может попасть и добрый человек. Время такое. Отведем да ошибемся, — добавил аксакал, — смеяться будет над нами, чабанами, вся Гуляевка.

Упоминание о насмешках охладило воинственность женщин.

Кто-то остался снаружи, у входа в земляную нору. Некоторое время слышались шаги нашей охраны. Потом мы уснули и проспали до вечера, когда у землянки вновь послышались громкие голоса.

— Где они?

— Здесь.

— Вы их обыскали?

— Нет.

— Они вооружены?

— Не знаем...

— Ладно. Открывайте дверь.

Аксакал поднял камышовую плетенку, откинулось на ременных петлях сооружение, громко именуемое дверью. На краю норы появился щегольски одетый старший лейтенант в форме внутренних войск. За ним — чабаны с посохами.

— Документы!

Мы протянули справки гуртоправа и бухгалтера колхоза.

— Это все? — старший лейтенант вздернул кокетливо бровь.

— Все, — смиренно сказал я.

— Вы задержаны!

Уполномоченный полуобернулся к чабанам:

— Отведете их в Гуляевку, в милицию. Мне надо в Коктерекский район заглянуть. Я потом выясню, кто они такие в действительности...

Путешествовать под конвоем в Гуляевку нам не хотелось: время дорого. Кстати, оказаться объектом внимания большого села совсем не входило в наши замыслы. Мало ли с кем и когда из коренного населения нам предстоит встретиться где-то в пустыне, а память на лица у людей отменная.

— Как же это вы, товарищ...

— Я вам не товарищ, — гордо парировал уполномоченный.

— Ну, гражданин старший лейтенант, отправляете нас в Гуляевку под охраной дохлого старика?

— Чего же бояться, если вы просто граждане? — прищурился он.

— А вот мы отойдем от отары, да и придушим дохляка. Ищи-свищи нас потом.

— Вон как заговорил! Надо вас обыскать... — и старший лейтенант шагнул ко мне.

Я стоял так, что старший лейтенант загородил меня от взглядов чабанов. Расстегнув пальто, я оказался вооруженным до зубов и одновременно поднес к глазам уполномоченного удостоверение подполковника НКВД. Старший лейтенант оторопело молчал несколько секунд. Потом сообразил:

— Хорошо... Я вас сам отведу в Гуляевку... Нечего рисковать.

Аксакал, стоявший у входа, одобрил соображения старшего лейтенанта. И другие чабаны остались довольны. Близился сакман — расплод овец, и каждый человек при отаре ценился на вес золота. Ягненок — будущая овца, и сохранность приплода — главная чабанская забота.

Нам связали руки, и мы отправились под конвоем старшего лейтенанта в сторону тугаев, зашли за невысокий бугор.

— Ну и ошеломили вы меня, товарищ подполковник! Я ведь чуть за пистолет не схватился.

— И правильно. Слишком смело действовали. Следовало приказать нам выйти, а не самому в землянку лезть.

— Виноват... товарищ подполковник!

— Значит, в переделки не попадали, спокойно в округе.

— Как сказать... В Бурылбайтале на табун племенных коней напали. Пять жеребцов угнали. Говорят, Аргынбаевых дело.

Мы с Васей переглянулись. Разные сведения, Шарипов говорил — девять. Не это важно: у банды есть еда. Они могут отсидеться где-то довольно долго.

— А куда они ушли? — спросил Вася.

— В сторону Кокуйских болот.

— Там кто-нибудь живет постоянно?

— Есть один. Дядя Иван. Видел я его недели две назад.

— Что дядя Иван сказал?

— Тихо кругом, сказал.

— Слишком тихо... — заметил я. — Так ты говоришь, они ушли в сторону Кокуйских болот? Это, сам знаешь, тысячи квадратных километров... А далеко ли до дяди Ивана?

— Шестьдесят километров. По самому краю немного меньше. Но там зыбун... Сверху вроде песок сухой, даже травка растет. А пойдете — провалитесь в топь — сразу с головой уйдете. И шапки сверху не останется. Вот месяц назад...

— Верю, товарищ старший лейтенант, — остановил я уполномоченного, готового рассказать все подробно чьей-то гибели. — Нам надо как можно скорее к дяде Ивану попасть, на западный край Кокуйских болот.

Старший лейтенант обещал достать в Гуляевке лошадей и, сделав солидный крюк, доставить их нам. И выполнил свое обещание. И не только это. Он привез нам горячей еды — жареного фазана, утку и шмат копченого сала. После утреннего чая у нас во рту не было ни маковой росинки. День прошел дергано, ничемно, суетливо. Мы чувствовали голод, но это ощущение не всегда способствует хорошему аппетиту. Принес старший лейтенант и фляжку со спиртом, чем тоже обрадовал нас. Мы позволили себе выпить по чарке, стараясь привести в порядок нервы.

Завтра пойдет тридцать пятый день, как мы отправились в путь. Но сколько еще времени минет, прежде чем мы наступим на хвост банде Аргынбаевых? По опы-

ту, долгому и не всегда сладкому опыту, который «сын ошибок трудных», мы делали сейчас самую сложную, черную работу. Она укладывается в рапорт несколькими строчками, отнимая едва ли не девять десятых времени во всякой операции.

Ладно. Хватит жаловаться....

Мы сидели в тугаях, под старой вербой на прокаленном морозом искристом песке. Вокруг стоял высоченный тихий камыш. Он не шумел и не гнулся. Ветра не было. Каждый стебель светился под высокой и очень яркой луной в три четверти на исходе. И в небе мерцало много-много звезд.

Завернутые во что-то ватное жареный фазан и утка оказались настолько горячими, что обжигали пальцы. Вкус они сохранили удивительный, мясо легко отделялось от костей, мягкое, чуть терпкое, таявшее во рту.

Под арестом в землянке мы отлично отдохнули и, насытившись, почувствовали себя бодрыми, готовыми к длительному пути по пескам. Но едва мы отправились на лошадях к западной стороне Кокуйских болот, погода испортилась. Бесформенные тучи затянули небо. Из них посыпалась мелкая, как пыль, снежная изморозь. Пальто, шапки и наши лица, груди и крупы коней покрылись инеем, словно ледяным панцирем. Лошади храпели и выбивались из сил, преодолевая барханы, ранили ноги о ледяную корку. Приходилось нещадно погонять и понукать их. За ночь мы с трудом преодолели километров пятьдесят и на рассвете расстались со щеголеватым и деловитым старшим лейтенантом.

— Как-то встретит нас дядя Иван... — проговорил я, прощаясь.

— Две недели назад на хуторе было тихо... — сказал старший лейтенант.

— Почему дядя Иван отшельничает?

— Не знаю. Привык. Охота здесь редкостная. Дочери у него, пожалуй, самые богатые невесты в округе. Но будь моя воля, выселил бы я их в Гуляевку. Как им не жутко в такой глуши?

— Надо бы вам навещаться к дяде Ивану почаще, — заметил я старшему лейтенанту.

— Станные они... — протянул уполномоченный.

— Не без причин, поди... — сказал я, отпуская подругу: зачем же лошади мучиться на обратном пути.

Мы с молчаливым Васей пошли по песчаным греб-

ням в сторону дома отшельника дяди Ивана, ориентируясь на приметы, которые нам подсказал уполномоченный. Человек он наверняка хороший, а вот с местным населением при его привычках городского сердцееда ладить ему, вероятно, трудно.

Не прошли мы и семи километров в сером рассвете, как впереди и справа послышался далекий нестройный лай собак.

— Слышишь? — остановился Хабардин. — Сколько ж их там? А что, если этот дядя Иван выпускает их по ночам?

— Вряд ли. Они всю дичь в округе распугают.

Снег усилился. Встречный ветер косо нес колючие полосы ледяного ливня. Мы углубились в заросли камыша и связались веревкой: если кто из нас и ухнет в топь, чтоб тут же вытянуть. Стебли тростника в два-три человеческих роста сухо стучали друг о друга, а порывы ветра, не достигая земли, посвистывали в заледелых метелках.

С часу на час лай доносился отчетливее. Впрочем, то, что мы слышали, нельзя было назвать лаем. Это было скорее утреннее взбредивание, когда псы, как бы сказать, спорят — возьмут или не возьмут их на охоту, и кого именно, и почему.

Строго выдерживая направление от одной ветлы до другой, точно по приметам, мы вышли на бугор и увидели перед собой поляну. В дальнем от нас краю, метрах в сорока, сквозь сетку снега — то редкую, то частую, — мы различили длинное низкое строение под камышовой крышей, с множеством небольших дверей. Посредине этого строения поднимался дом-мазанка, тоже под камышом, в пять окон. В двух левых светился желтый огонь. Дым из трубы ветер швырял прямо нам в лицо, и собаки на псарне не почуяли нас.

Справа и поодаль от дома разместился такой же добротный скотный двор.

Мы залегли на бугре, отделенные от поляны лишь несколькими рядами тростника да желтыми прядями мягкой песчаной осоки — курека, торчащими из снежного намета.

Часа два таились мы на бугре. Прежде чем знакомиться, нам нужно было твердо убедиться — на хуторе нет посторонних. Лежать на снегу, едва прикрывшем замороженный песок, — удовольствие маленькое.

Озноб пробрал нас основательно. Челюсти свело — не разожмешь. А шевелиться и маяться в тридцати метрах от своры натасканных на зверье собак — забава рискованная.

С рассветом метель стихла. За низкими тучами взошло солнце. В одиночный просвет где-то далеко-далеко брызнул его рыжий яркий свет и погас.

Чу! Заскрипела дверь. Из дома вышел мужчина. Я приник к биноклю. И словно перед окулярами увидел заросшее по глаза русой бородой лицо, красный нос пуговкой, торчащий из курчавых волос. Рыжая шапка из лисы-огневки будто горела в свете пасмурного дня. На отворотах крытого сукном полушубка виднелась волчья шерсть. В руках он держал штучной работы двустволку с насечкой. По всем приметам — дядя Иван.

— Поздно на охоту, — тихо проворчал Вася, постукивая зубами от озноба.

— Ему виднее...

У угла дома стояла одна в другой стопа банных шаек. Взяв пару, дядя Иван прошел в пристройку, служившую, видимо, кухней для собак, наполнил тазы парующей едой. Отнес тазы к дверцам псарни и выпустил двух здоровых кобелей. Они набросились на еду, а запертые в других помещениях псы завели отчаянный концерт.

Поев, собаки принялись было играть, но дядя Иван окликнул их, и они послушно, деловито двинулись впереди него.

Снова заскрипела дверь. По поющим от мороза ступеням невысокого крыльца спустилась девушка с ружьем — непритязательной тульской двустволкой с побитым прикладом. Девушка была полной, со скуластым лицом, отцовским носом-пуговкой, который словно растаскивал красные от здоровья налитые щеки. Она тоже покормила собак и ушла в тугаи слева от сарая, на край болота.

И опять, едва она скрылась в зарослях, отворилась дверь дома. На порог, держа в каждой руке по прекрасному ружью, вышла настоящая красавица: высокая, стройная даже в меховой одежде. Строгое лицо ее, чуть тронутое розовым морозным загаром, обрамлял вязаный шерстяной платок. До сих пор я помню ее облик.

Отлично подогнанная длиннополая куртка из шоко-

ладного меха ондатры облежала ее фигуру, перехваченную патронташем. Выворотные меховые штаны будто лесины обтягивали ноги красавицы, обутые в теплые высокие сапоги из собачьих шкур.

— Посмотри-ка, — толкнул я Хабардина, передавая ему бинокль.

— Я уж вижу, — прошептал Вася сведенными от холода губами, а глянув в бинокль, добавил: — Губа у щеголя-уполномоченного не дура. Только по комплекции старший лейтенант этой красавице не подойдет — жидковат.

— Поболел бы за товарища...

— Вот я и болею.

Красивая девушка поставила ружья у угла дома, принялась кормить очередную пару псов. Чтобы она ни делала, все у нее ловко получалось — загляденье, да и только. Когда собаки наелись, девушка лихо свистнула, и псы бросились впереди нее по заветной, привычной тропе.

— А почему у нее два ружья? — обеспокоенно спросил Хабардин.

— Я тоже хотел бы это знать.

— Не с двумя же ружьями она охотится!

— Узнаем... Раз уж мы здесь — узнаем.

— И ружья-то, похоже, немецкие. — Вася повел плечами, чтоб хоть капельку согреться движением. — Больно хороша девица для охотницы. И на тебе — с двумя ружьями! Они же по несколько тысяч стоят каждое!

Тут ступени крыльца буквально застонали. И я увидел на крыльце женщину необычайной полноты. Странным даже показалось, каким образом она протиснулась в дверь дома. Конечно, мне показалось, что под тяжестью ее громоздкого тела вздрагивала даже земля. Красное расплывшееся лицо ее, может быть, лишь карими глазами да темным цветом волос напоминало дочь-красавицу. Впрочем, я заговорился. Все наоборот.

Громоздкая женщина принялась готовить еду в собачьей кухне. Ходила она утицей, переваливаясь. Зажгла дымный очаг в коптильне по другую сторону дома. В открытую дверь мы видели много подвешенной рядами рыбы. Громоздкая женщина ушла в дом, выпустила во двор семерых девчонок, мал мала меньше. Старшей здесь не исполнилось, поди, и четырнадцати, а млад-

шей — пяти. В детском гаме мы едва расслышали далекие выстрелы.

За полдень мать отправила девчонок в дом, в тепло, при одной мысли о котором у нас сладко заходило сердце. Нам казалось, что, поднявшись, и шага сделать не сможем, так закоченели.

Наконец-то появился дядя Иван. За пояс его были подвешены за шеи две утки и фазан. Он бросил выпотрошенную дичь в какой-то ларь около дома, занес ружье; вышел с топором, принялся что-то мастерить, тюкая инструментом по колодине.

— Пойдем, — сказал я Хабардину, чувствуя — ему совсем плохо.

Он даже икать пачал — совсем закоченел, замерз. Да и ждать больше ни к чему: всех домашних мы видели, а окажись посторонний в доме, то и он уж непременно высунул бы нос на двор.

Увидев нас, вдруг вышедших из камыша, бородач перехватил топор поудобнее. Потом шагнул было к псарне.

— Здравсьте, дядя Иван! — мой крик заставил его остановиться. Оружия в наших руках не имелось.

Несколько секунд бородач стоял, готовый запустить топор в любого из нас. Он вроде бы даже прикидывал, кого сподручнее поразить наверняка и с кем он потом справится без особых хлопот.

— Дядя Иван! Здравсьте! — как можно приветливее говорил я, подходя.

Жена его, выглянув из копильни, так и осталась в дверях, строго глядя на нас.

— Да вы что — испугались? Дядя Иван...

— Здравствуйте, здравствуйте... — бормотал старик, отложив топор и пожимая протянутые руки. — Кого тут бояться... Сами-то откуда будете?

— Мы зимние пастбища для колхоза ищем. Вот и документы наши. Я — гуртоправ, а он — бухгалтер. Про вас мы в Гуляевке слышали...

Мы, наверное, представляли собой смешную пару: щуплый Хабардин с горбом мешка на спине, и я — верзила, с дрыном в одной руке.

— Чего «услышали»? — неохотно спросил дядя Иван и вздохнул.

Не нравилась мне встреча дяди Ивана. Слишком угрюмым он выглядел для человека, который живет от-

шельником: живет — не тужит и рад быть должен каждому человеку, посетившему его хутор. Как же иначе? А он готов был пойти на нас с топором.

Я подождал с ответом на его вопрос о том, что мы слышали в Гуляевке. И он почувствовал это и снова полуспросил, глядя искоса:

— Чего обо мне можно слышать...

— Живете давно... Места здешние хорошо знаете...

— Живу... Знаю... Само собой... — как-то успокоеннее сказал дядя Иван.

Из-за угла псарни выскочили две собаки и принялись лениво облаивать нас. Дядя Иван цыкнул. Еще и еще раз оглядел нашу крепко поношенную одежду, солдатские вещевые мешки и большую фляжку на боку.

— Зина! — вдруг крикнул старик. — Где ты запропастилась?

Только после этого из-за угла появилась полная девушка с отцовским носом-пуговкой. У пояса ее висело четыре утки. Она, потупив взгляд, кивнула нам и, не останавливаясь, прошла в дом.

— А какой у вас скот? — спросил дядя Иван, забрав бороду в кулак.

— Разный. Коровы, овцы, конечно, козы...

— Коровам тут зимой делать нечего, — усмехнулся в бороду охотник. — Подохнут от бескормицы. Высохший на корню курек — не еда для скота... А его вон сколько, — дядя Иван кивнул в сторону закраины болота, где на огромном пространстве расстилались прекрасные пастбища для тысячных отар. — Только волков полно. Много овец задерут...

— А собаки на что? — бодро сказал я.

— У меня их сорок две штуки. А баранту я в овчарне держу. На всякий случай.

— Тут, пожалуй, не только хищников много. Мясного зверья тоже полно...

— Есть. Водится. Сайгаки, кабаны... Дичь разная.

Видел дядя Иван, что промерзли мы оба до мозга костей, но в дом приглашать не спешил. Ждал ли — сами попросимся, другие ли мысли его одолевали, не знаю.

— Да... Не похоже, что вы по карточкам еду получаете, — хлюпнув носом, проговорил Вася Хабардин.

— Мы их и не видели, — как-то странно проговорил охотник. Слышалась в его голосе жалость к людям, ко-

торые вынуждены думать о том, из чего сварить еду. — Да, мы их и в глаза не видели... Очень трудно в городах?

— Тяжело...

— А на фронте как?

— Вышибли немца из Киева. В Крым наши войска прорвались, — словно отчитался я. Раз мы из Гуляевки, то обязаны знать последние новости.

Вероятно, уверившись, что мы не шастали по болотам и действительно знаем положение на фронте, дядя Иван сказал:

— Добро, хоть я это уже слышал недавно...

«Конечно, — подумал я, — был у вас уполномоченный, щеголь — старший лейтенант...» — а вслух спросил:

— Может, что нового слышали, да мы не в курсе...

— Жена моя, — вместо ответа сказал бородач, представив громоздкую женщину, которая, выйдя из коптильни, тихо подошла к нам. — Надей зовут.

Надя протянула нам руку лодочкой. Постаралась улыбнуться.

Из камыша с правой стороны поляны выскочили две собаки, бросились было к нам, но резкий посвист остановил их. Псы сели, оглядываясь, потом легли, положив морды на лапы и глядя на нас. Следом вышла стройная красавица с двумя ружьями за плечами. У ее пояса висело четыре фазана и шесть уток. Увидев нас, она сбросила ружья с плеч и, перехватив за шейку ложа, положила пальцы на спусковые крючки. Это движение было быстрым, привычным до произвольности.

«Ого, как насторожена красавица, — подумал я. — Неспроста!» А вслух спросил:

— Вы с обеих рук стреляете?

— Ну!

— Правда?

— Правда, — немного смутилась девушка.

— Это наша вторая дочь — Нина, — сказал дядя Иван с гордостью. — Главная в доме... После меня. Охотница, каких свет не видывал. Зина-то, старшая, что первой пришла, та бьет из ружья вроде поневоле. А эту — хлебом не корми...

Присмотрелся я к ружьям красавицы. Действительно, немецкие. Очень дорогие — «зауэр — три кольца» и «золинген». В идеальном порядке. Не ружья — мечта.

Нужно быть не только отличным охотником, но и высоким ценителем оружия, чтобы знать, каким кладом обладаешь. Кинув в ларь добычу, Нина перехватила мой взгляд: не вдруг мне, охотнику, удалось отвести глаза от таких ружей.

— Что ж вы, отец, добрых гостей на морозе держите? — сдерживая гордую улыбку, сказала любимица дяди Ивана.

— Заговорились, заговорились, доченька, — как бы извиняясь, проворковал дядя Иван.

Я подумал, что оговорка отца «главная в доме после меня» значит, пожалуй, меньше, чем следовало ожидать.

И снова дядя Иван бросил вопрос «с наживкой»:

— Чем бы это вас угостить? Сайгак вареный и копченый, кабанятина есть... Сало-то вы кушаете? А?

— Едим, и сало едим, — улыбнулся я. — Было бы сало.

— Вот и хорошо... Вот и хорошо... Ты уж беспокойся, Надюша.

Нина поторопила нас:

— Идемте, идемте! Разберемся в тепле.

— Идем, идем, — глаза дяди Ивана искрились лаской при взгляде на любимицу.

Мы прошли в дом, сняли пальто, которые почти приросли к нам. Оружие, патроны и гранаты мы с Васей еще в камышах спрятали в вещевые мешки, так что теперь выглядели вполне цивилизными — гуртоправом и бухгалтером.

Едва мы вошли, самая младшенькая вдруг заплакала и за ней еще двое. Еле успокоила их мама Надя.

Вася локтем подтолкнул меня: неспроста, мол, дети плачут.

Стол, накрытый в горнице, подивил нас: сахар, свежий хлеб, мясо вареное и жареное, рыба копченая. Не помнил я такого роскошного стола — дасторкона с довоенных времен. В городах трудно было с едой, а тут — сами добытчики. Женщины и дети устроились на кухне.

Перехватив наш удивленный перегляд, дядя Иван пояснил, усаживаясь за стол и разглаживая пышную бороду:

— Мы ни в чем не нуждаемся. Каждый сентябрь к нам из конторы «Заготживсырье» чуть не обоз при-

езжает. Забирает нашу продукцию — шкуры, мясо, рыбу, а нам все заказанное привозят — муку, продукты, керосин сразу на весь год.

— Диковато, наверное, год целый никого не видеть? — спросил Хабардин. Небольшого роста, он совсем потерялся за столом рядом с кряжистым хозяином и мною, долговязым.

— Диковато? Нет. А по пути, бывает, чабан заглянет, охотник... Диковато вам, городским, с непривычки. А я тут с двадцать второго года живу. Сам-то сибиряк. Отца в Омске колчаковцы расстреляли. Жил в Верном, Алма-Ате, значит. Потом сюда с Зиной перебрались..

— Да и мы не городские, — заметил Вася. — Какие ж мы горожане?

Говорить с дядей Иваном требовалось осторожно. Вон как он исподтишка «горожан» подсунул. Заметил Вася, молодец.

Ели долго, отдавая честь каждому блюду, что стояло на льняной со складками скатерти. Зарумянились сразу, у хозяина лоб незагоревший аж засветился, лица то под бородой не видно. Ели молча, со вкусом, только покряхтывали, помахывая головой от восхищения перед кулинарным искусством хозяйки.

— Вот седлышко сайгака с почками, — начал потчевать хозяин, когда мы немного притомились. — С перчиком, с перчиком надо... Печенка фазанья с жареным луком — ух, хороша!

— Сграшно вам, поди, — тянул свою линию Вася. — Десятеро — дочери да жена, а вы один.

— Привыкли... Вон у меня собак сколько... — дядя Иван отложил вилку. — Спущу свору, они кого хошь разорвут. Волки одного лая боятся.

— А двуногие? — спросил Вася.

— А что двуногие? Оружия у нас много... И собаки... Чаю не желаете? Надя, — позвал дядя Иван жену. — Чайку бы нам...

— Где же дочери учились? — видя, что хозяин совсем не расположен говорить о «двуногих волках», я перевел разговор на безобидную тему.

— Хотели школу такую — ан... интернат, кажется, в Гуляевке открыть. Да война... Читать там, считать я их по календарю учу. Ну, писать имя свое они умеют. Сколько Нину уговаривал в город поехать... Выбралась

разок, пробыла три дня... Так она всю обратную дорогу скакала, лошадь едва не загнала — к себе, домой, तोпилась. С тех пор калачом туда не заманишь.

В чистой, пахнущей травами мазанке было много всяких вышивок, подзорчиков и накидок снежной белизны, и ни одной книжки, ни намека на газету. Даже настенный отрывной календарь замер на пятнадцатом декабря. А этот день минул две недели назад... По нашим подсчетам. Выходит, завтра тридцать первое. Новый год! Вот те раз! И мы, значит, про него забыли бы! Надо напомнить.

— И не тоскливо здесь дочерям вашим?

— Некогда скучать-то. Сегодня неходовой день стоял. Дичи почти не видели. Опять же ондатровые дались капканы обойти надо. Рыбные снасти. То сайгака, то кабана и притащить, и разделать, и покоптить, и посолить надо. Дел на весь день. Заготовив сырье нам ни задаром, ни в кредит ничего не дает. Сами знаете. Расценки же невысоки... Посудите...

«Никак не подступиться к дяде Ивану, — подумал я. — Не хочет он откровенничать. Что ж, в доме, за столом — одно, а вот, может, в тугаях, на охоте разговорится?»

Разговор у нас не клеится, я перебил хозяина:

— Нам поохотиться можно?

— Чего ж нельзя! Это дело. Вот мужская беседа, — оживился хозяин. — Только не обижайтесь, горожане, одних я вас не пущу. Кокуйская хлябь — штука коварная. Эй, Надя! Где чай? Да, не отпущу я вас одних. Тебя, — он посмотрел на Хабардина и, видно вспомнив его дотошные расспросы, ухмыльнулся. — Тебя я с Зиной пошлю. А вот тебя — с Ниной. У нее самый большой и богатый участок. Хотя и далековато. Да ты, слышь, попробуй свою ходулю оставить. Ступаешь ты на больную ногу твердо.

«Ой, хитришь, дядя Иван, — улыбнулся я про себя. — Нет ли тут подвоха какого? Да, дочерей нам с Васей на охоте будет трудно вызвать на откровенность. Чужаки мы. Они опасаться нас станут. А как сказал дядя Иван про мою ногу — «больная»?»

— На раненую, — поправил я дядю Ивана, обратив внимание и на то, что он нас «горожанами» назвал.

— Где ранило-то?

— На фронте...

— На фронте так на фронте... — как бы снова замыкаясь в себе, пробубнил хозяин.

— Вот перевяжу — посмотрю, можно ли без посоха.

— Можно, сынок, ты уж твердо ступаешь. А перевязать, оно, конечно, перевяжи. Бинтов у нас да лекарств там... — он запнулся, — в достатке.

«Ага... — снова отметил я про себя. — Едва вспомнил о бинтах, как сразу осекся. Значит — «мало»? Или — «остались ли»?»

Чай принесла Нина, и, пока она посуду со стола собирала, старик с удовольствием поведал ей о нашей просьбе и своем распределении мужчин «по номерам», как он сказал.

Нина глянула на меня своими карими глазами с лукавинкой:

— Добро, пойду с начальником.

— Какое ж я начальство?

— Не бухгалтер же у вас в начальниках ходит, — хитро ответила она.

Странен был ее намек. Само собой — вся семья присматривалась к нам. Давно они поняли, а хозяин и жена его, поди, с обращения «дядя Иван» сообразили — не банду, чтоб примкнуть к ней, мы ищем. А вот кто мы? Пусть думают о нас что угодно. Нам рисковать нельзя. Вдруг бандиты появятся здесь, едва уйдем? В их руках сила, а у дяди Ивана — семья. Они смогут заставить говорить. Незнание иной раз спасает человека.

Чай, отличный в самом деле чай, мы пили в два раза досыта и до темноты. Когда в доме стали укладывать спать детей, нам постелили в красном углу на полу. Я перевязал ногу, увидел, что рваная рана почти зарубцевалась и под свежей сухой повязкой подсохнет за неделю.

Дядя Иван, осмотревший мою рану, был того же мнения.

«Внимательный человек дядя Иван, — подумал я, устраиваясь под чистой хрустящей простынью. — Все подметил... А я, очевидно, слишком глупые для гуртоправа вопросы задавал... Потому хозяин и не поверил нам. Действительно, какой гуртоправ, глядя на зимнее пастбище, сплошь покрытое куреком — песчаной осокой, станет говорить о пастьбе коров? Я сглупил явно...»

Свои вещмешки мы поставили в головах и, понадеявшись на добрую душу хозяина, легли.

Что нам оставалось делать?

Вопросов тьма, посоветоваться бы с Васей. Но как?

Многое говорило за то, что какие-то контакты у хозяина с бандитами были... При виде нас, посторонних, дядя Иван никак не мог заставить себя расстаться с топором... Зина, вернувшись с охоты, не сразу вышла на поляну, пряталась за углом, пока отец не позвал ее... Нина, едва завидев нас, приготовилась к обороне, взяв ружья наизготовку... Маленькие дети заплакали взахлеб, стоило нам войти в дом...

Похоже, наведывались к ним бандиты... Дядя Иван, под угрозами расправы и бесчестья, снабдил их всем необходимым. Но когда бандиты приходили сюда? Если до встречи хозяина и старшего лейтенанта? Тогда, не признавшись представителю власти, хозяин вряд ли откроется добровольно и нам. Придется действовать хитростью. Ну а коли после старшего лейтенанта? Вероятно, дядя Иван не имел еще возможности сообщить куда следует, не мог оставить семью, опасался послать дочь... Похоже, не шуточными оказались угрозы!

Но мои рассуждения — пока домыслы.

В чистой постели с отвычки мы спали беспокойно.

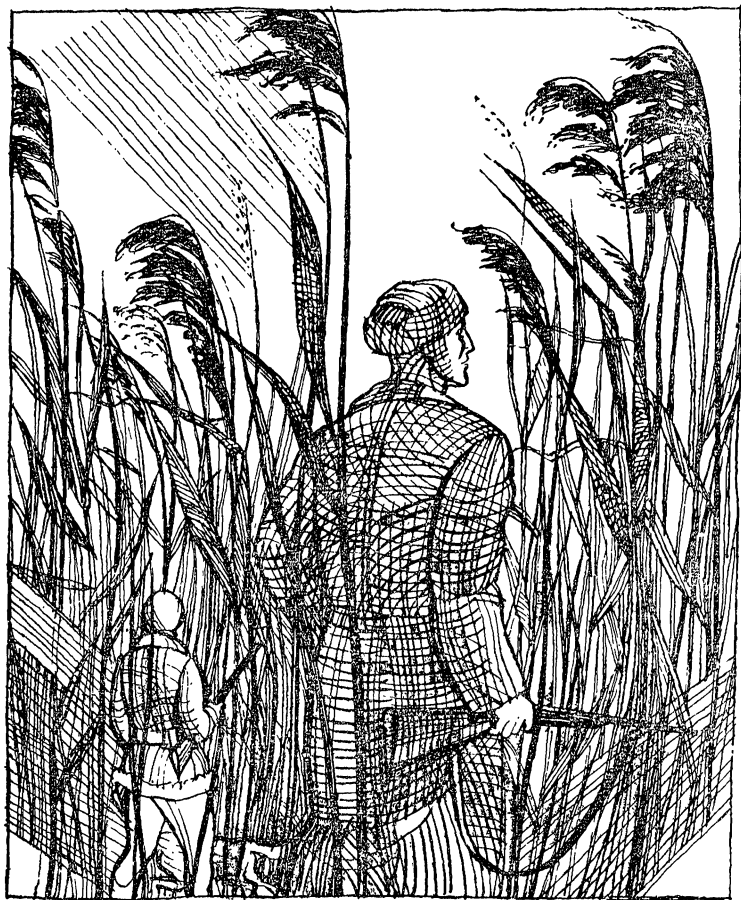
Глубокой ночью я вышел во двор по нужде. У дальнего угла псарни стоял дядя Иван с ружьем. Я бы подошел к нему, но, приметив меня, он качнулся к стене и слился с тенью.

«Почему дядя Иван, неожиданно увидев меня, попытлся в тень? — поначалу подумал я, но быстро вернулся в мазанку. — Что ж он — трус?.. Не стану торопить события. Будет еще время расспросить — зачем он стоял дозором, коли уверяет — спокойно в округе».

Поднялись затемно, часов в пять. Поели плотно, чаю напились. Ружья нам с Васей дали недорогие, но хорошие, легкие, ухоженные. Сославшись, мол, перекусить захочется, взяли мы с собой вещмешки. Дядя Иван промолчал, заметив только, что последний день года обещает быть ходовым, удачливым. Помнил старик дни, хоть и не отрывал листки на календаре.

Хозяин сказал — пойдет проверить капканы на ондатр и лис, и отправился первым. За ним Зина с Васей, взяв собак. Потом — мы. Все шло заведенным порядком.

День и вправду обещал быть на редкость погожим.



Небо — чисто и прозрачно, в нем таяли снежинки звезд. Легкий морозный туман обрядил инеем метелки и стволы камыша. Стояли синие сумерки, заря еще не просыпалась.

Нина посвистом отправила в камыш равнодушных ко мне собак. Мы двинулись следом.

Нога моя побаливала при ходьбе, но терпимо. Наверное, больше оттого, что долго находилась на щадящем режиме.

«Как подступиться к красавице? — поневоле вздохнул я, не сомневаясь уже — были на хуторе бандиты. — Одно оставалось — разговорить Нину во что бы то ни стало. Заставить ее проговориться наконец. И пусть она хоть сутки мотает меня по болоту, мне ж надо ловить момент».

Заросли встретили нас робкой, застенчивой даже тишиной. Она гасила звуки, оставляя их вмятинами в то же время. Дыхание собак впереди на тропе слышалось отчетливо, но не резко, как обычно. Не скоро я догадался — звонкость поглощает иней на камыше.

Долго и осторожно шли мы по едва приметной тропе; шорох наших ступней по инею сливался в один звук. Когда признаки тропы пропали, Нина, шедшая впереди, придержала шаг. Я поравнялся с ней. Она обернулась. Изморозь от дыхания опушила ее круто загнутые ресницы; брови вырисовались силуэтом белой летящей птицы.

— Идите за мной след в след. Ни шагу в сторону — топь, — сказала Нина. — Скоро утиный фонтан будет.

— Фонтан?

— Это я так озерцо зову. Оно не замерзает. Там утки держатся.

Нина быстрым, едва уловимым движением скинула с плеч ружья, взяла каждое за цевье, взвела курки большими пальцами, а указательные положила на спусковые крючки.

Самому мне стрелять уж не слишком хотелось, а вот посмотреть, как Нина бьет с двух рук, — очень. Я постарался не отставать от нее, но она обернулась и остановила мою прыть строгим взглядом. Подчинился, пошел медленнее.

Посмотрел вверх и удивился. Еще совсем недавно заиндевшие метелки выглядели синими, а те-

перь розовыми. И хотя цвет неба над головой совсем не изменился, даже звезды не истаяли — взошло солнце. Розовый цвет в инее накалялся, делался рдяным; тени внизу приобрели фиолетовый оттенок.

Слева залаяли собаки. Совсем неподалеку заплескали по воде, а потом защелками крыльями сразу несколько птиц. Косо мимо меня проскочили низко над метелками утки.

Я ударил из двух стволов, лишь понял — теперь дичь не упадет в воду «утиного фонтана». Следом — два дуплета из отличных хлестких ружей. Я не успел перезарядить и двух стволов, как снова раскатился двойной дуплет. Моя дробь пошла стае вдогонку. И снова удача. Нина же снова спаренными выстрелами проводила поднявшихся последними. На моих глазах четыре пестрые кряквы, шедшие далеко не сомкнутым строем, одна за другой, кувыркнувшись через голову, камнями падали в заросли.

«Попал или не попал — собаки узнают», — подумал я.

Псы уже шумели в камышах, отыскивая дичь. В воздухе вокруг меня мерцал в рыжем свете зари облетевший с метелок иней.

— А ты неплохо стреляешь, — услышал я голос неслышно подошедшей Нины. После выстрелов у меня немного заложило уши.

«Если напарник после охоты переходит на «ты», — подумалось мне, — то я ударил по уткам вполне хорошо. Не слишком ли? Похоже — увлекся. Чаше приходилось слышать, как охотники-друзья начинают говорить друг другу «вы».

— Не знаю. Я не видел.

— Две утки твои наверняка.

«Да я же четыре снял!» — хотелось сказать, но спорить не решился.

Собачьи морды с кряквами в зубах — коричневой уткой и зеленоголовым селезнем с белым ошейником — появились из камыша, положили поноску к ногам Нины. И тут же, не ожидая команды, псы скрылись снова. Они выскакивали и уносились вновь, пока у ног охотницы не вырос солидный ворох из тринадцати уток.

— На мою долю приходится одна, — скромно сказал я.

— Я тоже могла промазать, — великодушно промолвила Нина.

Она деловито и ловко выпотрошила дичь, отыскала бугорок и сложила на нем добычу. Потом сняла с пояса фляжку и щедро посыпала вокруг черным порохом.

— Ондатры могут растащить. Здесь много ондатр, — не ожидая вопроса, пояснила она. — Не устал?

— Ты охоться, как обычно. Я не подведу. Постараюсь... — Проверяет меня: ондатры уток не едят.

— Пойдем на фазанов?

— Бить так бить, — беспечно вроде ответил я, а сам подумал: пора нам присесть да поговорить.

— Мы не для себя. Заморозим — и в Гуляевку, а оттуда в город, в госпитали. Говорят, дичь очень полезна раненым. Быстро силы восстанавливаются.

— Вы сами их отвозите?

— Отец.

— А в Гуляевке кино бывает?

— Некогда, — отрезала Нина.

И пошла по тропе в тугаи.

Долго мы шли по тростниковому болоту, петляли, обходили топи и окна. Солнце оказывалось то слева, то позади, то справа. Оно поднялось над тугаями и стало медовым. Налились оранжевым цветом опущенные инеем метелки камыша, вымахавшего в два человеческих роста. Густые синие тени под ним, смешавшись с солнечным светом, ударили в прозелень. А ветер продолжал спать.

Постепенно камыш мельчал. Стали попадаться кусты ивняка, тамариска, верблюжьей колючки, редко — облепихи. Потом пошли купины и целые заросли утыканного колючками чингила, молодой поросли джанды.

Скрипуче гортанные крики фазанов то близко, то вдали слышались, будто на куриной ферме.

Должен признаться, что лучшего места для охоты трудно придумать: стежки птичьих следов пересекали одна другую.

— Пускаем собак, — сказала Нина. — Пока пес бежит и хвостом машет — нет дичи. Как остановится, замрет — учуял фазана, вы приготовьтесь, дайте посыл. И уж тогда на собаку не смотрите. Выше кустов взгляд. Фазан свечой вверх идет. Не стреляйте.

И попадете, да не убьете. Перья фазана на дробь крепкие. Зайцу, тому и одной дробины хватит. Фазана же надо бить, когда он со «свечи» в полет переходит. Тут он будто замирает, и заряд дробы под перо идет, прямо в тушку, — испытывая мое охотничье терпение, поучала Нина.

Я только поддакивал. Впрочем, и нагородил Нина чепухи, я не мог бы ее поправить. Откуда гуртоправу знать тонкости охоты на фазанов? А после разговора про кино Нина опять перешла на «вы».

Мы разошлись метров на сто и спустили со сворок собак. Не доводилось мне ходить на фазанов со здоровыми мохнатыми дворняжками. Удивительно, как дяде Ивану с дочерьми удалось натаскать их и на уток, и на фазанов, и на лис, и на сайгаков. Псы показали себя универсалами. Они делали все, и так, как полагается, а вдобавок — терпимы к хозяину. Собака, которую я впервые видел, оказалась очень послушной.

Тугай, поросшие невысоким камышом, были словно набиты дичью. Не прошел я и ста шагов, как собака сделала стойку. Я послал ее и через мгновение с сухим характерным шелканьем крыла о крыло взмыл ввысь яркий, бело-синий с красным ком. Засиял в голубом небе. В момент перехода со «свечи» в полет фазан выглядел ослепительным по игре красок. Я ударил влет. Распушив крылья, птица будто наткнулась на преграду, стукнулась о все грудью и кувырком, теряя пестрые перья, упала в кусты.

За час с небольшим я набил полдюжины отличных фазанов. А Нина — пятнадцать. Где ж мне угнаться за ней с одним-то ружьем, когда она палит из четырех стволов.

Даже немного обидно стало, что нельзя перед Ниной блеснуть своим умением стрелять. Да где уж гуртоправу состязаться с охотником-промысловиком. Смирися.

А Нина меж тем снова выпотрошила птиц, сложила бугорком и опоясала черным порошком.

— Не устал? Может, на кабанов сходим?

— Можно и на кабанов, — покорно согласился я. Подумав: «А после охоты на кабанов ты меня на сайгаков не поведешь? Кстати, охота на кабанов — штука опасная. Там я буду вынужден либо сдаться, либо показать себя мастером. Иначе можно и погибнуть ни за

грош. Ладно, проверь дальше. Убедись, что я не простачок».

Миновав тугай, мы снова вошли в густой тростник на берегу болота, такой густой, что и пробраться сквозь него невозможно. Прошлогодняя, позапрошлогодняя и десятилетней давности тростниковая ветошь поднималась едва не на метр от мерзлого песка. Мы тихо, взяв на сворки собак, двигались вдоль опушки зарослей. Тут на окраине я увидел дыры в камышином буреломе. Небольшие такие, дупла вроде.

— Заячьи норы? — спросил я у Нины.

— Кабаньи лазы.

— Кабаньи? Да в нее заяц с трудом пролезет! — говорил я уже без шуток, совсем не желая играть роль гуртоправа. Не доводилось мне охотиться в камышах на кабана.

— Секачи да чушки — что мыши. Лишь бы рыло с пяточком просунуть. А там и голову протиснут. Дыры же эти в тростниковом валежнике, словно резиновые. Пиль! — приказала Нина собаке.

Пес, вздыбив шерсть на загривке, подошел к дыре, приняхался, сунул морду в нору и точно провалился в нее, но, испугавшись чего-то, выскочил и, виновато скуля, на брюхе пополз к ногам Нины. Нагнувшись, она потрепала пса по загривку. Тот опрокинулся на спину и, мягко поскуливая, перебирал лапами.

— А был бы там «хозяин»?

— Не-ет. Я знала. Мы оставим собак здесь, а пойдем на другой край зарослей. Потом я свистну, а собаки погонят кабанов на нас. Не боитесь? — неожиданно спросила Нина. — Я-то бью наповал.

— Я тоже постараюсь.

— А куда надо бить, знаешь? — усмехнулась красавица.

— Скажешь — узнаю...

Я улыбнулся Нине. Игра наша явно затянулась. Не пора ли напрямки спросить: «были бандиты и когда?»

— Под лопатку, под ухо...

— Когда он ползет из такой дыры — под ухо удобнее, — ответил я с видом знатока.

— Не струхни... с перворазу. Ну да я рядом буду, выручу. Ружье жаканами перезаряди.

Я давно ждал указания и тотчас выполнил его. Од-

нако слишком торопливо, не спросив, какими такими «жаканами» надо заряжать. Сработала охотничья привычка — рука безошибочно протянулась к левой части патронташа. По-моему, Нина отметила про себя эту мою «неожиданную» осведомленность.

Пройдя километра два-три, мы вышли на открытый песчаный перешеек, спрятались в кустах. Против нас в серой камышовой ветоши чернели шесть кабаньих лазов, расположенных метрах в десяти друг от друга. И солнце хорошо освещало их из-за моей спины.

— Твои два левых... — сказала Нина и подала сигнал собакам. Они подняли лай в болоте. И вскоре мы слышали хархарнье, треск тростника недалеко перед собой.

Меня беспокоило одно: что, как свиньи покажутся в обеих дырах разом? Успею ли я ударить под ухо одного, прежде чем он своей тушей заслонит лопатку второго? Ведь выстрелив по брюху, я лишь раню зверя и не успею перезарядить ружье. Всего тридцать метров отделяло меня от кабаньих лазов.

Не желая рисковать, я решил стрелять с упора — примостил ложу ружья на рогульку ивовых веток в кусте, что стоял передо мною. И не пожалел.

Одновременно с треском в тростнике из дыры, как из жерла, вылетел секач. Спусковой крючок я нажал почти инстинктивно. Визг смертельно раненного слился со взрывом во второй дыре, из которой выскочила чушка-кабаниха. Тут я не опоздал и на десятую долю секунды, попал точно под ухо. От удара чушка развернулась и, повалившись на бок, заскользила задними ногами вперед. За ней тянулся кровавый след, широкий и очень яркий. Секач-то заверещал, потому что жакан пришелся под лопатку. Вепрь был огромен. Он подскочил от боли и проехал по снегу мордой метров десять. И теперь паровал развороченным кровоточащим боком в густой синей тени от куста тамариска.

Убедившись, что пара кабанов убита, я обернулся в сторону Нины. Тут-то мне и выпал случай увидеть ее виртуозность в стрельбе.

Нина стояла шагах в двадцати от меня. Меж редких безлистных ветвей я прекрасно видел ее темно-коричневую куртку из ондатры, серый оренбургский платок. Оба ружья были вскинута к плечам девушки, а ложки прижаты к щекам. Я знал, что в спортивной стрельбе,

например, своеобразном «марафоне» 30 + 30 + 30, то есть из положения «стоя», «с колена» и «лежа», по тридцать выстрелов из боевой винтовки, есть мастера, которые, прицеливаясь, не прищуривают левого глаза, а глядят обоими. Сам умел стрелять из пистолета с обеих рук от пояса, да хоть через карманы. Но видеть, как бьют из охотничьих ружей одновременно с обеих рук, не приходилось.

Когда я обернулся, Нина сделала один выстрел и уложила кабана. И случилось то, чего я так боялся, ожидая появления зверя: один заслонил другого во время вылета из камышовой дыры. А из трех дальних от нее уже тоже выскочили секачи, брызжа пеной и отчаянно хрюкая.

Я растерялся: «Как же Нина справится со всеми? Ведь один-то из пяти непременно уйдет. А помочь ей у меня нет возможности! Стрелять жаканом через сучья — бессмыслица! Ударившись о ветку, пуля непременно изменит направление!»

Пока я стоял столбом и размышлял, Нина почти одновременно ударила из двух стволов по дальним от нее секачам. Затем по ближнему, что выскочил из второго лаза. Я не мог уследить сразу и за кабанами и за Ниной. А она тем временем молниеносно откинула ружье с левой руки на плечо, одной правой сломила ствол, уперев ложу о бедро, и перезарядила «зауэр».

Кабан находился на грани убойности для жакана. Но Нина успела выстрелить и с очень острого угла попала зверю под лопатку. Секач подпрыгнул и, перевернувшись через голову, шлепнулся на песок.

Никогда в жизни я больше не видел такой стрельбы.

Да и таких азартно-восторженных женских глаз, какие были у Нины, когда она обернулась ко мне, пожалуй, тоже... никогда в жизни.

Потом мы стащили туши семи кабанов в кучу. Бережно сняв шоколадную ондатровую куртку, Нина засучила по локоть рукава пушистого свитера и принялась потрошить добычу. В морозном воздухе терпко пахло теплым ливером и кровью.

Закончив потрошить кабанов, девушка отмыла руки и лицо в бочажине.

— Теперь можно и отдохнуть... — сказала она.

— А дядя Иван на кабанов ходит?

— Еще бы. У него трехстволка бельгийская.

Не знать такой марки было бы мне не простительно.
— Два ружейных — спарены, а под ними нарезной, винтовочный...

— Откуда знаешь?!

— Дорогое ружье...

— У кого видел? — Нина побледнела, отступила на шаг, поближе к оружию. — Было такое ружье у отца.

— А где же оно?

— Там, где ты его видел...

— Не видел я его, — спокойно ответил я. — Фирма известная. На весь мир гремит среди охотников.

— За кабанами мы придем после обеда, — заторопилась Нина, запахивая куртку. — Отца, Зину и вашего Васю захватим. Одним нам не справиться. Здесь не меньше тонны мяса. А птицу захватим сейчас. Пошли.

— Хорошо привычному человеку, — вздохнул я. — По мне бы отдохнуть чуток. Давай присядем. После такой охоты не грех посидеть. Вон у той ветлы. Там затишье и сухо.

— А вы счастливчик. Не припомню такого удачного дня.

— Дичи много. Ходовой день, — улыбнулся я.

— Может быть, — согласилась Нина и вздернула бровь. — А я думала, гуртоправы стреляют хуже.

— На фронте не кабаны перед тобой, а враги. Они тоже стреляют хорошо...

Подойдя к ветле, мы сели рядом, прислонившись спинами к шероховатому стволу.

— Почему вы не учитесь, в школу не ходите? — спросил я, только чтоб завязать прервавшийся разговор.

— Читать, писать я могу, а кто умсет так охотиться, как я?

— Неужели вас не тянет в город? Там женщины и учителями, и врачами работают.

— Была я в городе... еще перед войной. Целых три дня там провела. Разговаривала с женщинами — учителями, врачами, даже с инженером. Они учатся, они работают, чтоб хорошо, в достатке жить. А разве у меня нет достатка? Я на охоту хожу в ондатровой куртке. Когда я приехала в город в своей шубке, все женщины наперебой охали и взапуски завидовали. Чего я ни пожелаю — все у меня будет или есть.

— Разве дело в шубке?

— Пусть не в шубке. Но кто из городских женщин знает свое дело лучше, чем я?

— Есть такие, — твердо сказал я. — Почему не быть.

— Если есть, то у них нет двенадцати шуб — сверху мех, внутри мех, по шестьдесят две тысячи и больше каждая стоит.

— А живя здесь, вы не боитесь, что однажды ночью двуногие волки придут и заберут ваши шубы, ружья?

— Раньше не боялась...

— А теперь? Теперь-то почему? — я обернулся к Нине. — Что случилось?

Я радовался, что так удачно наконец повернул разговор и заставил Нину проговориться неожиданно для самой себя.

— Не стану я больше об этом... Отец строго-настро-го запретил.

— Я хочу помочь вам!

— Вы гуртоправ, хотите помочь? — она силком рассмеялась и встала.

— Как же так — «отец запретил»? А придут эти двуногие волки еще раз — опозорят вас... При чем тут запрет отца?

— Были и второй раз... — опустив голову, проговорила Нина.

— Два раза были? — вскочил я.

— Я бы брюхо жаканом вспорола каждому, кто вошел к нам в спальню. Так и отец сказал им. Они не посмели.

— Сколько их приходило?

— Первый раз — семь. Второй — человек двадцать. А один, отец говорил, в доме и не появлялся. У угла псарни стоял. Бандиты с ним переговаривались. Отец и мать, кажется, признали его голос.

— Кто же это был?

— И нам отец с матерью не сказали... Я спросила, да отец рассердился: «Незачем вам о нем слышать!» Раньше отец на меня никогда не кричал.

— Идемте, Нина. Я уж постараюсь разговорить дядю Ивана.

Я сделал вид, что бандиты меня больше не интересуют.

— Отец уверен, что никакой вы не гуртоправ, а Вася ваш — не бухгалтер.

— Даже уверен? Почему?

— Фляжка у вас со спиртом... На ее крышке инициалы старшего лейтенанта, оперуполномоченного из Гуляевки. Я у него точно такую видела, когда он был. Стреляете вы не как гуртоправ. И в сене ничего не понимаете, коли коров на курек выгонять вздумали...

Разоблачили меня... Что ж, пойду в открытую.

Впрочем, разве я сразу не стал обращаться к старому охотнику так, как его называл старший лейтенант из Гуляевки — «дядя Иван»?

Честные люди — добрые люди. Они куда наблюдательнее, чем злые, нечестные. Злые — замкнутые, всегда настороже, больше следят сами за собой, чем за окружающими. Они боятся, прячутся, где уж им быть по-настоящему внимательными.

Многое с момента прихода настораживало меня и Васю. Плач детей при виде чужаков. Не такие уж они маленькие, чтобы пугаться одного вида. Да и то детей надо сначала напугать чужому, тогда они и других бояться начнут. То, что Нина, придя с охоты, изговилась к стрельбе, когда увидела нас. Осторожность старшей сестры...

Собаки, целая псарня дяди Ивана — прекрасные охотничьи псы, но не защитники. Это я тоже понял. Они натасканы на любого зверя и дичь, универсалы в своем роде, но приучены подчиняться любому, не агрессивны, не видят в чужаке врага своего хозяина. Никогда не было нужно дяде Ивану, чтоб собаки видели в человеке чужака. Вот в чем дело.

По дороге к дому я таки узнал от Нины еще кое-что. Бандиты приходили к ним после посещения хутора оперуполномоченным из Гуляевки. Это немаловажное обстоятельство. Не на чью помощь в ближайшее время дядя Иван, обремененный большой семьей, рассчитывать не мог. А проводник, который показал путь бандитам по болоту и которого опознали по голосу охотник и его жена, непременно был человеком, связанным с Гуляевкой, человеком своим. И конечно, бандиты основательно пригрозили дяде Ивану. Только одно его появление в Гуляевке могло вызвать новое нападение бандитов — беспощадное и кровавое.

— Вы не говорите отцу о рассказанном мною, — попросила Нина, когда, забрав фазанов и уток, мы подходили к хутору.

— Конечно, нет! Зачем же? Дядя Иван сам откроется.

— Вот уж нет!

— Откроется, — твердо сказал я.

— Почему?

— Потому же, что и вы, Нина. Сами говорите — не верит он, будто мы с Васей Хабардиным пастбище ищем. А коли мы не бандиты, то значит, те, кто их ищет. Для вас ведь главное было убедиться — не бандиты ли мы, не ими ли подосланы, не стремимся ли соединиться с ними. Разве не так?

— Не знаю... Впервые я видела отца таким испуганным. Он никогда никого не боялся.

— Рассказал вам старший лейтенант о налете на табун из Бурылбайтальской рабочей дивизии?

— Говорил...

— Так остановятся ли бандиты при крайнем случае перед убийством старика, десятерых женщин и детей? Дядя Иван рассудил верно — не остановятся.

— Но и мы пристрелили бы не одного! — гордо сказала Нина.

— Вы могли ни одного и не увидеть...

— Как же так?

— Подождгли бы они ночью ваш дом, да и поубивали вас всех из камыша. Тем оружием, что у вас взяли. — И мне припомнилось ночное дежурство дяди Ивана. Очевидно, он думал, как и я.

— Отец очень жалеет свое ружье, — помолчав, проговорила Нина. — У него бельгийская трехстволка была. Два — ружейных, а третий — под винтовочный патрон, нарезной. Не любит жаканов отец...

— Да, пули варварские, — согласился я.

Мы давно вышли на твердую тропу среди камышовых зарослей и шли рядом. Собаки, играя, трусили впереди. Солнце налилось малиновым вечерним светом, висело над тростником. Поднявшийся ветер обтрепал иней с метелок, и они выглядели черными, будто обугленными. До нас уже долетал многоголосый лай с псарни.

Тропинка прихотливо вильнула, словно отыскивая в болоте путь покороче, и, не найдя, повела в обход. Послышался тупой стук бондарского молотка. Мы вышли на поляну перед домом, на котором резвилась вся сорокаголовая свора. Завидев нас, собаки лениво, по обя-

занности, твякнули в нашу сторону и вновь принялись за прерванную игру. Дядя Иван натягивал обруч на бочку, видимо, со свежесоленной рыбой, и куча окуней и сазанов, насыпанных на брезент, ждала своей очереди. Вася Хабардин сидел на крылечке и курил. Из коптильни высунулось на мгновение полное, красное лицо Нади — жены охотника. В окнах виднелись прижатые к стеклам носы малолеток.

— Э-э, — протянул, обернувшись, дядя Иван, — только вы сегодня удачливы.

— С ним на охоту, что в кино ходить, — кивнув в мою сторону, рассмеялась Нина. — Мы еще семь кабанов завалили!

— Да ну! — охотник смотрел на дочь с восхищением, а на меня — с завистью. — Счастливчик тебе в напарники попался. И птицы уйму набили! Этак мне раньше уговору в Гуляевку ехать придется. Привет кому передавать?

— У вас на рыб безгласных улов, — сказал я, отцепляя вязки с дичью и складывая ее в ларь.

— И то... — согласился дядя Иван. — А на обходе капканов ноги да время убил. И у Зины охота не пошла. Фазан да утка на двоих. Ну вы-то расходились! Обедать — потом все остальное.

— Мы с Ниной... — чуть покривил я душой, так не терпелось перекинуться с Хабардиным хоть словечком, — мы с Ниной думали, что засветло за мясом сходим. Чтоб уж праздновать Новый год, так праздновать.

Нина опустила взгляд, и я видел, как порозовели ее щеки:

— Да, отец, так лучше, по-моему...

— Дело говоришь — твоя взяла. — И дядя Иван без лишнего слов накинул на рыбу края брезента и громкогласно объявил, что все от мала до велика идут за кабанятиной. Что тут поднялось! Загоняли собак, одевались, доставали длинные, похожие на нарты сани, с хохотом впрягали собак и наконец отправились гуськом в туган. Я спросил Васю, почему он грустный.

— А... — махнул рукой Хабардин. — Только мы вышли, разговорились малость, я возьми и брякни, мол, кто это к вам заходил. В одном месте от нашей тропы в тростник словно ход проделан. Ну Зина и замолчала, будто онемела. Стреляла в божий свет, как в копеечку, больше дичь вслугивала. Так и вернулись ни с чем.

— Следов много?

— Отпечаток так один, след в след ступали. Зина меня от того места, точно утица от гнезда уводила.

— На обратном пути там не шли?

— О-о... за километр. Блудили, в зыбун попали. Я ее едва вытащил. Тяжелая...

— Дяде Ивану ничего не говорил?

— Тебя ждал.

— Хорошо...

— Чего хорошего?

— Я точно узнал, Вася, были у них бандиты. Только видели их дядя Иван с женой. К дочерям отец не подпустил, грозился перестрелять.

— Так и стрелял бы!

— Их человек двадцать.

— Поднабралось швали...

— Я тебе, Вася, мигну, если про виденную тобой тропу в тугаях напомнить дяде Ивану понадобится.

Вернулись мы с кабанятиной уж затемно.

Еда в русской печке остыть не успела. И сразу — за стол. Мужчины — за отдельным столом. И опять он мне напомнил наши дружеские довоенные дасторконы, когда год от года в каждом айле жизнь становилась все веселее, счастливее. А вот теперь сидели мы в новогодний вечер за обильным столом, в забытом, казалось бы, войной доме, над которым нависла угроза бандитского налета.

— За победу, сынки! — сказал дядя Иван, поднимая стакан со спиртом из нашей фляжки. — За скорую победу!

— За победу, так за победу. Мы ведь люди не военные, — сказал я. — А вот вы своей охотой да рыбачеством, поди, целую роту кормите.

Выпили. Дядя Иван до дна, а мы пригубили. Он глянул на нас, занюхивая хлебом, заговорил о другом:

— Роту — не роту, а взвод, надо думать, обеспечиваем питанием круглый год. И одежкой тоже. Третий год, как война. Деньги, которые причитаются нам, кроме провизии, керосина там, сдаем. Тысяч двести...

Дядя Иван взял крышку от фляжки, пригляделся.

— Позаимствовали... — опережая вопрос, сказал я.

— У хорошего человека позаимствовали, невоенные люди...

— Что ж вы в гости к хорошему человеку не навещаетесь?

— Туда да обратно — двое суток пройдет...

— У вас псарня целая — защитят семью от волков.

— Да не от двуногих...

— Тех, кто у вас два раза был...

Дядя Иван покосился в сторону кухни, где слышался веселый голос Нины.

— Так... Она, значит, сказала... Не подумала, что с нами всеми станет...

— И вам надо бы сразу сказать начистоту. Мы бы их с утра преследовать начали.

— Первый раз — на пятнадцатое в ночь. Я заутро собирался в Гуляевку податься... С рыбой мороженой да копченой, дичью, солонины две бочки десятиведерные приготовил, сала там... Все, что за месяц напромышляли... Семеро у окон топталось. Грохочут: «Открывай!» Думал я в них пальнуть... Так ведь подожгут и по одному перестреляют на выходе. Что им дети? Али девки? Открыл. Грязные, мокрые по пояс. Я им на дверь спальни показываю: «Женщины там. Войдите — убьют». А за перегородкой малолетки в рев — чужаки, боятся. «Э-э, — говорят, — свои есть, что нам русские свинюшки! Ружья давай! Еду давай!» «Вот ружья», — говорю. На стене три висело. Две двустволки — так себе, а третье, любимое.

— Бельгийское, — сказал я, — два ствола — ружейных, а под ними — винтовочный, нарезной. Под наш патрон, под русский.

— Верно. По особому заказу, видно, делали. Именное да не по-нашему выгравировано... Десять тысяч за него перед самой войной отдал. Эх...

— Вы ешьте, дядя Иван. Закусить забыли, — подбодрил я его.

— Да мне сейчас и фазанья грудка костью поперек глотки становится... Забрали ружья, дичь, рыбу, сколько могли унести. А в солонину нагадили, сволочи. Я им: «Хоть вы и не нашего бога люди, да зачем еду портить?» — «Что наше дерьмо, что сало — все одно. Сожрут ваши кызыласкеры», — и ржут, хотели и в другие нагадить. Как сказали они — «кызыласкеры», подумал я, что не только не нашего бога люди, а просто басмачи...

Слушал я дядю Ивана, а сам думал:

«Кызыласкеры... — это бедняки, защищающие бедняков от «высшей расы» — фашистов; бедняки, боровшиеся здесь против баев и манапов».

Родовая спесь, родовые традиции, басмачи проклятые! Знакомо, ох, как знакомо. Когда-то, в отрочестве, мне пришлось лицом к лицу столкнуться и не с такими последствиями этого груза прошлого.

То был очень тяжелый год. Шестнадцатый.

Не вдаваясь в исторические подробности, скажу, — манапы, бай и торговцы в конечном счете увлекли часть киргизов тогда за границу. Темные и забитые киргизские дыйкане... Они действительно пошли за этими козлами-провокаторами, когда богачи решили спасти свое добро. В самом чреве Тянь-Шапя есть долина. Называется Сарыджаз. Река так называется, горный хребет к северу от нее. И вот в этой местности собрались тысячи семей, чтоб миновать последний перевал. Была ночь, очень холодно. Возвращаться поздно; высокие перевалы, которые мы миновали, закрылись. А по узкой тропе перевала гнали манапский и байский скот — отару за отарой, стадо за стадом. Прошла неделя и еще неделя. Люди голодали и мерзли. Никто из богатых не дал ни барана. А многие, как и мы с братьями и отцом, ушли лишь с котомкой за плечами, оставив в селе все имущество.

И день ото дня народ понимал, как бессовестно и безжалостно его обманули. Ведь бай и манапы думали только о себе, своем скоте, своем добре.

Прошел ранний снег. Он грозил холодной смертью людям. Тогда терпенье лопнуло.

Я помню ту ночь в долине Сарыджаз и то, что теперь называют циклоном, а тогда просто бураном, обрушилось на толпы людей.

«В пропасть байский скот! Пусть идут люди!» — раздалось во тьме ночи.

Я солгу, если скажу, что видел и знаю — кто закричал первым. Но тогда-то был уверен — это мой отец закричал. Потому что и мой отец кричал то же.

И чередой людей, взявши детей — кого за руки, кого на руки, держась друг за друга, двинулась на перевал. Я помню эту череду в подсвеченной снегом ночи.

Приспешники баев и манапов били людей палками, стреляли в них. Но длинная чередой не отступала и двигалась, и двигалась по тропе к перевалу.

«Все равно, все равно, — шептал отец. — Смерть ли здесь, в драке, смерть ли в пропасти, смерть ли в долине от холода и голода. Держись, сынок».

От холода и ужаса, криков отчаяния вокруг и ударов я не мог плакать и только шел за отцом. А мать, схватив его за халат, держалась позади с малолетками, потому что отец прокладывал путь на тропе перевала.

Нет, не время и не место останавливаться на истории, делать длинные отступления. Я знаю, сам видел одно: когда людям стало плохо, когда они умирали, радители родов, старейшины племени предали их, предпочтя своему народу свой скот.

Это я видел. Видел на Сарыджаз. Тогда там бушевало два циклона: гнев народа и снежная буря.

После рассказа дяди Ивана я возненавидел Исмагула и Кадыркула еще больше. Но не потому, что они носили имя Аргынбаева, тоже предавшего сотни своих соплеменников за свой скот, а потому, что оказались они такими же, как отец, как дядя.

А дядя Иван продолжал рассказывать о налете. Говорил он глухо, нутужно. И держал в руке вилку, как держат нож.

— Остановил расходившихся бандитов, тех, кто солонину портил... Один из них же. Хромой, вроде вас. Тоже с палкой. Бугаек. Он все молодого, у кого рука на перевязи, слушался. А тут набылчился: «Хватит! Нам пора. А то не пройдем болото до рассвета».

Я подумал: «Конечно, это и был Исмагул. Досталось ему в схватке с Макэ Оморовым, вечная ему память... Однако же братья не в ладах живут. Даже здесь между собой за власть воюют. И куда девался Абджалбек, дядя их? Ведь происшедшая в доме у дяди Ивана стычка: портить — не портить бочку солонины, может свидетельствовать о многом. Прежде всего — Исмагул, как был телком, по выражению старухи Батмакан, так им и остался. Но не всегда. Умеет и на своем настоять. Как-никак старший брат. Кадыркул — хитер, видимо, ловок, шайтан. Батмакан говорила — сам дерет, сам орет».

Я старался представить себе теперешний их облик. Ведь снимок-то у меня был довольно старый. На фотографии им по шестнадцать-семнадцать лет. Как, в чем они изменились?

Хотелось мне показать дяде Ивану фотографию братьев, чтоб окончательно убедиться. Но поосторожничай, мало ли как дело обернется, да и признать Аргынтаевых на фотографии — штука нелегкая. Иной поворот, если я им самим снимок покажу. Они-то тут же себя узнают.

— А второй раз когда явились? — спросил я дядю Ивана, угрюмо уставившегося в столешницу.

— Двадцать первого... Похоже, всей бандой — семнадцать пришло. Под утро... Орут, грохочут. Дети мои маленькие опять в рев, сердце надрывают. Мы после первого налета, не будь дураки, ружья, вещи, ценное — в камыши снесли. Все из съестного бандиты утащили, в куржумы, сумы переметные, попихали. Мешок муки, что в расходе был, тоже уперли. И снова, как в первый раз, пригрозили: «Никто, кроме тебя, не знает, что мы тут. Придут войска нас ловить — ты выдал».

Дядя Иван замолчал. Лицо побагровело.

«Ишь, какие самонадеянные — «войска придут», — я усмехнулся в душе. — Войска... Многого хотите. Или Абджалбек внушил вам, что на двадцать бандитов дивизию целую пошлют? Не пошлют. И нас двоих хватит».

— Тот, что помельче да поюрче, всю картину расписал. Пули, мол, на тебя пожалею. Удавку на шею наденем, а сами девок портить будем — от малой до старшей, и убивать. Как тебе надоест смотреть, так сам и удавишься. Еще запомни: нас поймают — сумеем другим наказать, чтобы расправились с тобой, с собакой.

Сжал дядя Иван вилку в руках, словно нож для удара. Голос его охрип от ярости. Старик помолчал, прокашлялся, продолжил:

— Пока они шастали из дома в сарай да из сарая в дом, а я — за ними. Приметил, стоит один у угла псарни. Близо не подходит, издали с ними разговаривает. Ругается, мол, у него все ружья не забирайте. Оставь, мол, его без ружей — он завтра в Гуляевку побежит, нечем ему охотиться станет, нечем семью кормить. И жена, что из дома вышла, слышала этот разговор. А когда они ушли, мы с Надей, не сговариваясь, решили — тот, который у угла псарни стоял, — Ахмет-ходжа. Чабан. Он из Гуляевки, пасет две отары на северной стороне от болота.

— А вы, дядя Иван, не ошиблись?

— На слух, по стуку крыльев, я одноногового фазана от двухлетки отличу. И пришли они по тропе с северной стороны болота. Я проследил, куда они ушли, — туда же, на север. А там никого, кроме Ахмет-ходжи, нет. Еще был с ними старик, старый-престарый.

— А вы нас туда провести можете, дядя Иван?

— Что вам там делать, невоенные люди? — спросил охотник, глядя мне в глаза.

— Пастбища искать, — ответил я без улыбки.

— Нина вас проводит...

«Если уж старик решился послать с нами свою любимицу, — подумал я, — то без боя он не сдастся... И надеется, что ее-то мы в обиду не дадим. А она доложит ему, как прошла наша встреча с бандой».

— Хорошо, — вслух сказал я. — Нина проводит так Нина... Только вы не беспокойтесь, дядя Иван.

— Поздно беспокоиться, о драке идет речь. Когда пойдете?

— Поужинаем и двинемся.

— А Новый год?

— В другой раз отпразднуем.

— Вдвоем, выходит, идете?

— Вдвоем пока, — попытался я успокоить дядю Ивана. — Надо точно узнать, где они теперь находятся.

— В Гуляевку, к старшему лейтенанту не ходить? Я девчонок одних оставить боюсь.

— Не ходите. Вы собак научите сторожить.

— Эй, Нина! — крикнул старик.

Отводя рукой прядь с высокого чистого лба, вошла в комнату Нина, красивая, разругавшаяся в тепле.

— Проводишь ночью гуртоправа с бухгалтером через топь на северный край болота.

— Хорошо, — очень спокойно кивнула Нина.

Старик глянул на нее из-под бровей:

— Ты ж знаешь, кто они?

— Похоже, знаю.

— Бери чуток восточнее, чтоб не прямо к отарам Ахмед-ходжи выйти, а за холмами. Приглядеться им нужно.

— Ладно, отец.

— Собирайся.

Нина вышла в другую комнату. Сквозь дощатую пе-

регородку оттуда доносился смех, возня девчонок-малолеток.

— Если выйдете до полуночи, то к утру, к самой заре, туда поспеете... — сказал дядя Иван. — Не могу я их одних, без себя, оставить...

Наверное желая перевести разговор на другое, Вася спросил:

— Много взяли у вас бандиты?

— Что? — переспросил охотник.

— Ограбили вас крепко?

— Дак как... — дядя Иван пошевелил бровями, бородой, нахмурил белый лоб, подсчитывая, прикидывая. — Тысяч на триста пятьдесят облегчили, коли считать чемодан с деньгами... Душ наших не захотели и то ладно... Что ж вы вдвоем с ними сделаете, гуртоправы, люди невоенные?

Вася пожал плечами:

— Сообразим по обстановке... Наше дело — наши заботы.

— Ни пуха вам, ни пера.

Вошла одетая в овчинный полушубок Нина. Болотные добротные сапоги с широкими раструбами доходили ей до паха и были привязаны ремешками к поясу. На одном плече Нины тускло поблескивал «зауэр», а на другом — моток веревки метров эдак в тридцать.

— Отправились, полуночники!

Простились с хозяевами и ушли в морозную и промозглую болотную ночь. Тугай подтопил туман. Тяжелая тишь стояла над топью. И тучи стлались над тростником, темные и беспросветные. Промозглый холод перехватывал дыхание.

У поворота тропы на север Нина распустила моток веревки и велела нам обвязаться.

— Станете проваливаться — все одно: не шагайте в сторону, с головой ухнете, — голос Нины в туманной тишине слышался глухо, сдавленно. — Не кричать, не разговаривать. Кто их знает, может, они навстречу нам прутся.

Она пошла первой. Ее фигура маячила впереди расплывчатым призрачным пятном. Я шел замыкающим, и не минуло и четверти часа, как раненой ногой угодил в промоину, набрал полный валенок воды. Забулькал, выходя на поверхность, болотный газ.

Чертыхнулся я про себя и тут же влез в топь другой ногой.

Потом перестал считать купанья, ухая в песчаную. сцепленную корнями тростника жижу. Лишь провалившись по пояс, дернул веревку. Мне помогли выбраться. Тут я увидел, что даже шуплому легковесу Васе Хабардину крепко досталось. Он был не суше меня, и полы его пальто тоже заледенели.

— У меня судорогой ноги сводит, — шепнул я.

— То же самое, — просипел Хабардин.

— Нельзя отдыхать — обморозитесь, — шмыгнув носом, заметила Нина.

— Мы и не собираемся.

Снова двинулись по топкой тропе, проваливаясь в булькающую жижу, вытаскивая друг друга, и опять брели, держась за веревку. Пот тек из-под шапки, ел глаза, а ноги ломило от ледяной воды.

— Теперь уже скоро, — неожиданно остановившись, сказала Нина. — Собака брехнула.

Мы не слышали, но поверили ей охотно — чересчур измотались, потеряли ощущение времени. И лишь по тучам, которые обозначились на низком однотонном пологее, поняли — скоро день. И сгустился, стал плотнее, потек накатами клубящийся туман.

Наконец вышли на сухое место, похоже, остров.

— Нина, дальше мы сами пойдем.

Вдруг она всхлипнула:

— Куда ж вы такие пойдете? Вы ж замерзнете в степи. Там ветер. И их семнадцать гадов.

— Ну-ну, Нина! Ты же смелая девушка...

— Да я не за себя боюсь!

— Ты лучше нам дорогу объясни.

— Вон верба — прямиком до нее. Оттуда увидишь заросли тамариска. Они уж на берегу растут. За ними низкий тростник — и степь, бугор, за которым отары.

— Спасибо, Нина. Прощай. А в Гуляевку, в кино почаще езди.

Нина потупилась, по-мужски пожала нам руки:

— Я часок подожду... Как там у вас.

— Отец велел тебе тотчас возвращаться. Не волнуй старика.

— Я время на обратном пути наверстаю.

Спорить с упрямницей было бесполезно. Мы отправились к вербе, по-прежнему связанные веревкой, на вся-

кий случай. От вербы без особых приключений добрались до ветвистого тамариска, кусты которого походили на гигантские шары перекасти-поля, сметенные ветром в низину. Продрались сквозь них в низкие, в рост человека, камыши. Увидели справа от нас, к востоку, желтый песчаный холм в темных пятнах верблюжьей колючки. Отару на северном, дальнем от нас, склоне. Было уже совсем светло. Несколько черно-белых пятнистых собак бродили около всадника на буланой понурой кобыленке.

Я достал из-за пазухи бинокль и присмотрелся к чабану. Мужчина средних лет, по углам рта висят кисточки усов. Судя по описанию дяди Ивана, он-то и мог быть Ахмет-ходжой. Пастух дремал, поперек седла лежало ружье. Нина вывела нас удачно: ветер тянул на нас, и сторожевые псы не чуяли нашего духа, да и далеко мы находились. Поглядел в бинокль и Вася.

— Похоже, он в карауле, — заметил Хабардин. — Землянка, верно, здесь. Вон следы к ней.

Отошли вправо, чтоб получше осмотреть бугор со стороны. Тогда я увидел поодаль стреноженную лошадь, вход в землянку, завешенный кошмой. Труба землянки не дымилась, хотя время для чабана не завтракать, а готовиться к обеду. Около входа почти нет следов, снег, которого там было многовато, не истоптан.

— Что ж они не выходят?.. — протянул Вася.

— Пожалуй, их и след простыл. Захватили на хуторе продукты — и айда.

Хабардин кивнул:

— Может быть. Только проверить не мешает. Вот я думаю — уйти нам левее. Мне — подальше, да и пошуметь в тростнике. Собак на себя отвлеку. Если бандиты там — выйдут. Тогда покричу — пусть спасают. Да и вы подоспеете.

— Ты, Вася, учти — собаки сторожевые, не Ивановы.

— А иначе как проверишь? А к спасенному какое же недоверие?

— Пожалуй... — согласился я. План Хабардина был хорош. Если бандиты и ушли, а мне так думалось, то следовало узнать, велика ли доля участия Ахмет-ходжи в делах и замыслах банды. Рассчитывать на его добровольное и скорое признание — дохлый номер. Ошеломить, заставить сразу поверить, что дядя Иван узнал его, — единственный способ развязать ему

язык. Тут придется положиться на случай. Прав Вася и в другом: ко всякому спасенному человеку отношение лучше и доверия больше, чем явившемуся как ни в чем не бывало из непроходимой топи. В сознании каждого бандита заложено — преследователь обязан знать дорогу. Значит, сразу подозрений мы у Ахмет-ходжи не вызовем. Вот так.

— Хорошо, Хабардин, давай в камыши. И шуми. Да с умом.

Вася смотал веревку и накинуд моток на плечо. Мы сложили в вещмешки гранаты, патроны. Оставили на всякий случай пистолеты за пазухой, которые можно было быстро спрятать под рубахи, и разошлись.

Не спеша, снова проверяя надежность каждого своего шага, Вася обошел по низкорослому тростнику холм.

Меня отделяли от Хабардина метров триста, когда послышался злобный лай. Я видел, псы от отары дружной сворой бросились в сторону камышей.

Из землянки никто не выходил. Будто там ни живой души. Хорошо это или плохо? Может, бандиты за-таились?

Я перевел взгляд: следом за собаками трусил к камышам чабан.

Глянул на склон бугра. Из землянки вышел в тулупе внакидку седобородый старик. За ним две женщины. Постояли, ушли внутрь.

Опять посмотрел я в сторону Хабардина.

Мужчина, похожий на Ахмет-ходжу, остановился около зыбуна, слез с лошади, прогнал собак к отаре. С ним остался здоровенный пес. Взяв ружье на изготовку, чабан вошел за собакой в тростниковые заросли.

Из землянки тем временем снова вышла женщина. Старик довольно безучастно глядел в сторону камышей. Женщина что-то сказала и непринужденно рассмеялась, собрала у входа топливо, опять ушла.

Недалеко от меня, в камышах, лаем зашелся пес. Хлопнул пистолетный выстрел. Я не сразу поверил, что слышал выстрел. Очень тихо он прозвучал.

«Ничего тревожного никто из них не приметил», — решил я и кинулся к Васе.

Я почти бежал, беспокоясь за Хабардина. И он, и чабан, похожий на Ахмет-ходжу, были вооружены. Я видел — сторожевой пес бросился в тростник, слышал глухой выстрел.

Нашел я их по голосам. Оба кричали друг на друга достаточно громко.

— Я бухгалтер, а ты на меня собаку напустил, — ругался Вася.

— Откуда чабану знать, кто в камышах.

— Какой ты чабан? — не унимался Вася. — Я к Ахмет-ходже иду. Мне в Гуляевке сказали — тут Ахмет-ходжа пасет отару.

— Так я и есть Ахмет-ходжа.

— Мне сказали, он почтенный человек, а ты трус. Не разобравшись, собаками травишь.

Услыхав мои шаги, Ахмет-ходжа насторожился:

— Кто там еще?

— Свои, — сказал уже спокойно Вася. — Ищешь-ищешь тебя, а ты с собаками встречаешь.

Хабардин готовил Ахмет-ходжу к вопросам о Аргынбаевых, явно намекая, что мы идем к ним, знаем о его связях с бандитами.

— Когда Аргынбаевы ушли? — спросил я, подойдя сбоку к Ахмет-ходже из камышей. Спросил запросто, как о вещи, которую он обязан знать.

— Неделью назад.

— Где они сейчас?

— Сказали, пойдут в Тасаральский рыбтрест.

— Сказали или пошли?

— Где они сейчас, мой двоюродный брат знает.

— А он где?

— В Бурылбайтальском рыбтресте. Сторожем работает.

Ахмет-ходжа отвечал на вопросы не задумываясь.

— Отправишься с нами.

— Что вы ко мне пристали? Ничего я не знаю! — Ахмет-ходжа глядел на нас оторопело, сам, наверное, не понимая, что уже все сказал.

— Ты лучше не шуми, Ахмет-ходжа, — посоветовал ему Вася.

— Кто вы такие?

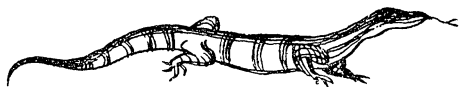
— Ты кого к дяде Ивану водил?

— А-а... НКВД... Увидят НКВД со мной — совсем плохо будет Ивану.

— Кто увидит? — поинтересовался я.

— Кто б ни увидел, — бодрился Ахмет-ходжа, да глаза выдавали его страх.

— Никто не увидит. Пропал ты, — сказал Вася.



— Как пропал? А овцы?

Вася махнул на него рукой, обращаясь ко мне:

— Его пес-живодер чуть глотку мне не перегрыз. Я ему вещмешок вместо приманки кинул, потом пристрелил. И к этому сзади подобрался, обезоружил. Пальто жаль. Я в собаку через полу и карман стрелял. Чтоб потише. Так я за мешком пойду.

Я кивнул и обратился к Ахмет-ходже:

— Абджалбек с ними?

— Старая лиса ушла. Ему нужны были деньги. Вот и велел вести к дяде Ивану. У того много. Мог я не пойти? Ты Абджалбека не знаешь. Его не послушаться нельзя. Убьет.

«Трус ты, Ахмет-ходжа, — думал я. — С нами тоже по трусости пойдешь. И за лошадьми сходишь. Нас ты больше Абджалбека боишься».

— Давно ты Абджалбека знаешь?

— Он ко мне от двоюродного брата пришел.

— А Исмагула и Кадыркула?

— Их и Абджалбек, сам говорил, только в люльке видел. Он был богатым торговцем. После революции за границу бежал. Во время восстания пришел обратно, да не успел. Бедняки ушли от Аргынбаева. Его и разбили. Попался и Абджалбек.

То, что говорил Ахмет-ходжа, было известно. А вот то, что Исмагула и Кадыркула дядя только в люльке видел, новость.

Вернулся из камышей Вася.

— Пошли? — спросил он. — Не показываться же нам в землянке.

— Придется рисковать. Лошадей надо взять.

— А если Аргынбаевы придут? Узнают, увезли Ахмет-ходжу... Вдогонку нам пустятся?

— Вот я и говорю: придется рисковать. Ахмет-ходжа в землянке никому не скажет, кто мы. Он дорожит своей жизнью. Если нас Аргынбаевы догонят, примем бой. Но и Ахмет-ходже несдобровать. Ты все понял?

Ахмет-ходжа закивал:

— Хорошо понял: брата двоюродного покажу. Исмагула и Кадыркула покажу.

Мы пошли в землянку к чабану и сакманщицам, объяснили, что Ахмет-ходжа едет с нами в Гуляевку. Пока им придется посмотреть за отарами.

Они молчали, закусив зубами концы головных плат-

ков. Поверили нам — нет ли, не знаю. Но обеих лошадей мы взяли с собой.

Ехали мы три дня, объезжая по краю болота песчаные бугры, похожие как две капли воды один на другой, с пологими подъемами из светлого песка, обращенными в сторону господствующего северо-восточного ветра, и крутыми обрывами, кое-где сохранившими очертания полумесяца с подветренных сторон. Бугры поросли кустами колючки. Пожалуй, только по рисунку, который образовывали эти темные шары и шарики, можно было разобратся, что перед тобой новый бугор, а не прежний. Кружиться-то можно сколько угодно.

Ахмет-ходжа был тих и покорен. Я посматривал на него искоса и думал: «Очень хорошо. Фотография — одно дело, а живой свидетель — куда лучше».

Мы остановились, когда вдаль увидели туманную россыпь огней Гуляевки.

Хабардина я послал вперед, чтоб он заехал к оперуполномоченному, старшему лейтенанту, а если его не окажется дома, то в милицию.

А я с Ахмет-ходжой остался в степи. Устроились за бугром, спрятавшись от пронизывающего ветра. Лошади фыркали и звенели снятыми удилами, чувствуя близость жилья и не понимая, очевидно, почему путники остановились на въезде. Ахмет-ходжа, запахнувшись в тулуп, прилег на песок.

— Что же теперь со мной будет? — спросил он.

— С нами поедешь в Бурылбайтал. И как поведешь себя, то и будет.

— Если вы их всех не поймаете, они убьют меня...

— Скажи, Ахмет-ходжа, почему Аргынбаевы не остались в Бурылбайтальском рабочем отряде, а подались в Тасаральский? Не медом же там кормят?

— Начальник чакчаган... Плохой начальник.

— Спесивый, говоришь? Зачем же им нужен плохой начальник?

— У хорошего чабана барана за деньги не уведешь, а спесивый за лишний поклон отдаст.

— Откуда знаешь, что в Тасаральском рыбтресте такой начальник?

— Люди говорят...

— Что говорят?

— Говорят, он все кабинет свой перестраивает, чтоб

больше стульев поместилось. Чем больше стульев в кабинете, тем крупней начальник.

— Кто ж на них сидит?

— Никто не сидит... А кого он к себе допустит, тот робеть должен: какой уважаемый, какой солидный начальник, столько людей его слушают.

— А в Бурылбайтале не такой?

— Тот и в землянке будет, а человека не обидит.

— Не понимаю я тебя, Ахмет-ходжа, зачем же бандитам у тасаральского начальника прятаться? — спросил я, а сам мысленно пересчитал стулья в своем кабинете — пять, по числу работников отдела, и два кресла у приставного стола... Задал мне Ахмет-ходжа сена для размышлений.

— Орозов каждого в своей дивизии человека, каждого в своем табуне коня, каждого верблюда, стук каждого мотобота рыбтреста различает. А тасаральского и по фамилии никто не называет.

— А как же его кличут?

— Пузырем. У него щеки из-за ушей видно.

— Как же ты повел бандитов к дяде Ивану?

— Шелудивому псу и тому еще один день прожить хочется, — вздохнул Ахмет-ходжа.

— Что ж, этот Пузырь знать не знает, что у него под носом делается?

— Некогда.

— Некогда?

— Он доклады да приказы пишет.

— Кому же он доклады читает?

— Наверно, тому, у кого стульев в кабинете побольше, чем у него.

— А приказы?

— Он их не читает, только подписывает. А на бумаге люди, что стулья, одинаковы... Что Маметбаев, что Аргынбаев, что Нурпейсов — стулья: поставить туда, поставить сюда. Крутой начальник Пузырь. На него только с затылка и смотрят: прошел в кабинет, в машину прошел. Я говорю, лишь щеки из-за ушей и видно. Он думает — командует! Нет! Им кто хочешь командует. У такого начальника темный человек, как под бородой у аллаха.

«О, аллах, — с горькой усмешкой подумал я. — О, аллах, пусть скорей наступит время, когда люди не будут покупать еще один день, час, минуту, мгновение

жизни предательством, отступничеством, низостью, подлостью за счет себе подобных. Чтоб тебе, всемогущий, как на камнях, спалось на райских подушках за создание такого страшного мира, который мы все-таки переделаем!»

Язык у меня не поворачивался назвать Ахмет-ходжу предателем. Его убили бы Аргынбаевы, и непременно, если бы он не повел их на Иванов хутор. И смерть Ахмет-ходжи ничего не изменила бы в поведении бандитов.

«Что ж получается, товарищ подполковник? — остановил я себя. — И теперь Ахмет-ходжа из страха идет с тобой против тех же Аргынбаевых, кому он служил тоже из страха. А его совесть где?»

— Не везет Аргынбаевым... — тихо проговорил Ахмет-ходжа. — Прекратится их род, как ни старалась спрятать детей Батмакан. Бедная Батмакан.

— Мы преследуем не Аргынбаевых. Мы преследуем преступников, какое бы имя они ни носили.

— Яблочко от яблони недалеко падает, — гмыкнул Ахмет-ходжа. — Кровь — не вода.

— Не верю я в это. Не принадлежность к роду определяет судьбу человека. Другое дело, что вобьют ему в голову. Главное — какими глазами он сам видит мир. Не захочет думать — поплетется за обычаем, как баран за козлом. А если у него на плечах не пустой кувшин, то пойдет не с родом, а с народом.

— Ты знаешь таких? А? Знаешь?

— Конечно! Когда мы боролись с бандами басмачей, вместе со мной в отряде служил внук ханши Курманджан-дахта. Не чета Аргынбаевым по рождению. Отличный джигит. Батыров Турэ. Не раз мы рисковали жизнью друг за друга. Будь Исмагул и Кадыркул хорошими людьми, не выступай они против народа с оружием, кто посмел бы произнести о них дурное слово? Не-ет! Та кровь, о которой ты говоришь, — стоячая вода!

Ахмет-ходжа плотнее завернулся в тулуп и затих, будто уснул.

За полночь поредела россыпь желтых огоньков в стороне Гуляевки. Осталось лишь несколько, что светились попарно, будто глаза зверья.

Я очень продрог, и, сколько ни прыгал, колотя валенками один о другой, мороз ледяными иглами прон-

зал ноги в мокрых портянках. И эти тонкие иглы были так пронзительны, что доставали до сердца — я чувствовал, как оно ежилось.

Да костра-то нельзя разжечь!

Наконец прибыли Хабардин и старший лейтенант на верблюдах.

Мы попросили его сообщить в колхоз, что заболел Ахмет-ходжа и нужно срочно послать к сакманщицам нового чабана: этой ночью и весь следующий день внимательно следить, кто отправится к Балхашу, через пустыню Саксаулдала; желательно никого не пропустить, задержать, хотя бы на сутки.

Я хорошо растер спиртом ноги. Когда разворачивал с треском смерзшиеся портянки, Ахмет-ходжа сел испуганно, а потом, поцокав языком, предложил подрезать полы тулупа, чтоб смастерить чуни, а не совать ноги в ледяные валенки.

— Опоздал, — усмехнулся старший лейтенант. — Я суконные портянки привез. Обойдемся.

— Я не подлащивался... — вздохнул Ахмет-ходжа. — Не до этого мне.

— Товарищ подполковник, может, кружным путем дозвониться до Бурылбайтальской рабочей дивизии?..

— Запрещаю, товарищ старший оперуполномоченный!

Поели горячего мяса, попили горячий шурпы — бульона. Хабардин в кастрюльке, завернутой в кошму, привез. Как-то пободрей, повеселей стало. Я сел на лошадь, а Хабардин и Ахмет-ходжа на верблюдов и, простившись со старшим лейтенантом, двинулись в пески Саксаулдала, точно держа курс на будущую зарю, которая должна была расцвести еще только через несколько часов.

Согревшись, я вздремнул в седле. И уж верно после разговора о чистоте рода и силе родственной крови приснилась мне старуха Батмакан. Только видел я ее не такой ласковой, какой она была наяву. Предстала она в воображении тщедушной и горбатой с блестящими медными когтями и медным носом, позеленевшим от злости. Она скакала подле меня, обнажая гнилые клыки в запавшем рту, пришептывая: «Отдай кровь! Отдай сердце!» Эта сказочная Джебз-кемпир, или бабаяга, тянулась и никак почему-то не могла дотянуться до моей груди отточенными, как пики, когтями.

Очнувшись, я сплюнул:

— Чертовщина какая-то...

— В чем дело? — спросил Вася.

Рассмеявшись, я пересказал сон.

Ахмет-ходжа высунул красный нос из ворота тулупа:

— На таком морозе гурии рая не привидятся.

Перевалило за полдень, стало вечереть, а мы ехали и ехали. Еще и еще день.

Посыпался густой крупный снег, и сразу потеплело, стих пронзительный ветер. Все скрылось, и лишь в глухой тиши казалось, будто слышится мягкий шорох вяло опускавшихся хлопьев. Время остановилось, пропал его смысл, а следовало спешить. Но и гнать нельзя — животные устанут.

Так было всю ночь; мы словно не двинулись с места, потому что движение меж летящего снега не ощущалось. Когда рассвело, снегопад прекратился, тучи исчезли, точно просыпались на землю без остатка. А они на самом деле зависли над горизонтом, словно горы, затягивая восход солнца. Над нашими головами простиралось в самой выси непомерно огромное облако, похожее на белую шкурку каракуля — тугой виток к тугому витку. Его солнце подсвечивало внизу. Наблюдать такое было странно и очень приятно.

По чуротам стояли саксауловые рощи, серые, без тени на снегу, лохматые, корявые и сквозные. Мы видели, как поднимается из сугроба и ближнее и самое далекое дерево, каждое в отдельности, само по себе. В тот бессолнечный и ослепительный, скорее слепящий день нервные, измученные деревья выглядели красивыми, замершими в своем безмолвном страдании.

На опушках попадались песчаные акации. Они изящно, совсем, как березы, опускали долу прозрачные нежно-фиолетовые пряди длинных ветвей, концы которых утопали в сугробах. Ветвистые кусты тамариска принакрылись снежными папахами. Мелкие шары колючек щеголяли в белых тюбетейках.

Верблюды, очевидно, чувствовали себя нашими хозяевами в прекрасном замершем мире. Они гордо несли свои головы, украшенные рыжими чубами. Толстогубые морды их выражали спокойствие и удовлетворение. Они знали все и ступали, не глядя под ноги, с торжественной церемонностью владык.

А потом рощи остались позади. Мы поднялись то ли на плато, то ли на горы, разделяющие бассейны рек Чу и Или. Свистящий ветер с далекого Балхаша, скрытого за снежными увалами, начал сечь лицо. Наш путь запетлял меж буграми, и верблюды старались укрыться от пронизывающих порывов. На зубах закрипела песчаная пыль, и сохла глотка. Слепящее солнце било сбоку, выжимая слезы. Яркое небо и желтый песок четко обозначили линию горизонта.

На этой черте мы увидели идущих чередой пятерых верблюдов. Мы поторопили своих и скоро догнали караван, груженный войлоками и деревянным остовом юрты.

Лучше бы не догоняли этот караван!

Неделю назад банда Аргынбаевых напала на табун племенных лошадей Бурылбайтальского рабочего отряда. Табунщики отчаянно сопротивлялись, но тщетно. Бандиты наскочили ночью, обезоружили, убили и надругались над трупами четырех коммунистов и двух комсомольцев, которым были доверены двадцать девять английских жеребцов. Их увели.

Со времен страшных казней басмачей не доводилось мне видеть таких диких изуверств над людьми.

На руках одного из сопровождавших караван сидел десятилетний ослепленный мальчик-подпасок. Он сказал, что ему выкололи кинжалом глаза уже после того, как изуродовали старших.

Ахмет-ходжа прятал лицо в ворот тулупа, не глядел в сторону мальчика. Есть люди, которые не прочь помочь бандитам, чтоб спасти себя. Но как бояться тогда они видеть невинные жертвы злодеев, тех, которых они спасли, пусть и поневоле.

Только поздним вечером добрались мы до Бурылбайтала, будто приплюснутого ветрами и сугробами поселка на берегу Балхаша.

В первом же бараке мы спросили, где расположен штаб, и отправились туда. Часовой вышел из будки и остановил нас у шлагбаума. Я предъявил удостоверение НКВД.

Солдат посветил фонариком на фотографию в документе, на мое обросшее лицо с красными, воспаленными, иссеченными песком глазами. Право, я хорошо представлял себе, как выгляжу.

— Товарищ подполковник, я должен вызвать на-

чальника караула, — и взялся за телефон. Свет непогашенного фонарика упал на мои ноги — валенки разбились, из дыры в носке торчала портянка. Попробовал одернуть заскорузлое от грязи, заледенелое пальто, понял — бессмысленно. Хабардин выглядел не лучше. Рядом с Ахмет-ходжой, в тулупе и ичигах, мы походили на бродяг-оборванцев.

Взвизгнула промерзшая дверь дежурки, к посту шел караульный начальник: одна нога в валенке, другая в ботинке на протезе. Подошедший капитан, бледный такой казах, посмотрел документы, оглядел нас с головы до ног:

— Слушаю вас, товарищ подполковник.

— Мне нужен командир отряда.

— Пройдемте в караульное помещение. Время позднее, постараюсь поскорее вызвать его из дома. А этот гражданин с вами? — капитан кивнул на Ахмет-ходжу.

— С нами, — кивнул я.

Приятно говорить со строевым офицером: он сразу понял ситуацию и то, что Ахмет-ходжа задержанный, и не задал ни единого лишнего вопроса.

Войдя в жарко потопленную караулку с мороза, мы долго кашляли, до слез, до дурноты. Помороженные лица разгасились, глаза слипались и болели, нас разморило. Капитан, разговаривая по телефону, тоже кашлял, да по-иному, верно, у него не только была ампутирована нога, но и пробито легкое.

— Командир сейчас будет, товарищ подполковник.

— Спасибо, капитан. Где воевали?

— Вы про это? — Он шевельнул ногой в легком ботинке. — На Курской дуге. Я в артиллерии служил. Командовал батареей. Два дня все хорошо шло. А вот на третий, при отражении атаки танков, меня и починили...

— И легкое пробито?

— То ерунда... — отмахнулся капитан. — Вот нога...

Хотел я сказать, мол, с ногой уж ничего не поделаешь, а вот климат здешний для его легкого вреден, но тут вошел командир отряда, крепкий такой казах, лет за пятьдесят, представился:

— Орозов. — Он взял у меня из рук документы, бросил взгляд на фотографии в удостоверении, на меня, снова сличил. — Слушаю вас.

— Нам нужно поговорить. В контору можно с вами пройти?

В кабинете три стула, телефон и печка железная, холод — что на улице.

— Подождите, я печку затоплю.

— Можно это сделать через пять минут?

— Конечно!

— Мы ищем банду Аргынбаевых.

— Я сам ее ищу! — вспыхнул Орозов. — Они у меня шестерых убили, четырех коммунистов, двух комсомольцев! Они двадцать девять племенных английских жеребцов угнали. Сожрали, скоты!

— Поспокойнее, товарищ Орозов...

— Слушаю, — сцепив пальцы рук так, что костяшки побелели, Орозов уставился в пол.

— Работает в вашем отряде...

Орозов поднял гневный взгляд.

— Спокойнее, спокойнее... Работает в вашем отряде охранник на складе копченой рыбы, Ибрай его зовут?

— Знаю старика. Он еще при царе Горохе здесь работал.

— Так вот, этот старик точно знает, где сейчас банда Аргынбаевых, знает, что Аргынбаевы намерены делать.

— Шайтан побери этого аксакала! Сейчас мы его...

— Подождите, подождите! Вызвать старика надо осторожно, подменить на дежурстве — и украдкой сюда.

— Не привык я от своих скрываться... — пробормотал Орозов, но, посмотрев на меня, на мою одежду бродяги-оборванца, гмыкнул: — Извините, я не хотел вас обидеть...

— Дальше слушайте... Моего товарища, Хабардина, вместе с человеком в тулупе, посадите в смежную комнату. Стены тут фанерные — они наш разговор с Ибраем услышат.

— Так надо?

— Так надо.

— А что же Ибраю-то сказать?

— Ревизия приехала, бумаги спрашивает.

— И то, действительно, ревизуют нас чуть не каждый день. Сосед у нас беспокойный — все пишет, пишет на нас. И то мы не так делаем, и то не так хра-

ним, и тут-то у нас убытки... А... Я говорю майору, ну, командиру тасаральскому, приезжай, посмотри. Ведь ни разу не был! А пишет!

— Вы за Ибраем пошлите, товарищ Орозов...

Орозов сорвал телефонную трубку и, успокоившись, приказал капитану съездить на склад, подменить Ибрая и привезти в штаб, мол, ревизоры требуют, с бумагами. Потом Орозов стал растапливать железную печурку, а я ходил за Хабардиным и Ахмет-ходжой и поместил их в смежную комнату.

Ибрай, высокий сутулый старик с холеной бородой, вошел в кабинет степенно, вежливо поклонился, положил на стол принесенные документы. В комнате вкусно пахло копченой рыбой, и я почувствовал, что давно бы пора поесть. Сидя у открытой дверцы печурки, я полуобернулся к Ибраю и спросил:

— Скажите, пожалуйста, где сейчас находятся Исмагул и Кадыркул Аргынбаевы?

Глядя на командира дивизии, а не на меня, Ибрай ответил:

— Не знаю я, где Исмагул и Кадыркул Аргынбаевы. В тридцать первом году куда-то скрылись, сбежали... Больше ничего не знаю. Нет у меня известий... Ничего не знаю.

— Вы с ними недавно виделись!

— Кто мог так сказать? Вранье! — старик вскинул бороду. — Клевета! Клевещет кто-то!

Тут из соседней комнаты выскочил Ахмет-ходжа:

— Врешь! Ты врешь! Я им все рассказал! Правду сказал! Ты знаешь, где они!

— А-а-а... — протянул старик, искоса глянув на Ахмет-ходжу. Он спрятал руки в рукава халата и, набычившись, уперся бородой в грудь. — Ты, значит... Уж все сказал...

— Сказал! Правду сказал!

— Все?

— Все!!!

— Идем, — и Хабардин тронул Ахмет-ходжу за плечо. Они вышли.

А старик Ибрай сел, долго и пристально смотрел на меня, поцокал языком, головой покачал:

— Опоздал ты, начальник, пожалуй...

— Что?! — вскипел Орозов.

Но Ибрай не обращал теперь на него внимания.

Я продолжал греть руки у огня, хоть сердце у меня екнуло громко, мне показалось, словно селезенка у лошади; сказал совсем тихо, спокойно:

— Опоздал я или не опоздал, не вам, гражданин, судить... Где они?

— В Тасаральском рыбтресте... У бригадира Наубанова Таукэ... У брата жены Аргынбаева-старшего... Наубанов Таукэ и до войны работал в Тасаральском рыбтресте... На войну пошел, без руки вернулся... Опять бригадиром стал... Верят ему... Он кандидат партии... На фронте, говорит, вступал... Вот он, Наубанов Таукэ, и достал им справки, чтоб паспорта получить... Племянники его, Наубанова Таукэ, в Караганду людей послали. За паспортами... Должны... те люди уже вернуться... Вчера!

Ибрай говорил очень-очень медленно — жилы из меня тянул. А я грел руки у огня, слушал его; не заметил, как костяшкой к дверце прислонился, увидел только, когда содрал ожоговый пузырь.

— Вчера! Вче-е-ра-а... — протянул Ибрай.

— Врешь! — не сдержался Орозов.

— Не-ет, начальник, — по-прежнему обращаясь ко мне, протянул Ибрай.

— Спросим... К семье Наубанов вернулся?

— Вернулся.

— И сколько у него детей?

— Пятеро.

— И он руку на фронте потерял?

— По локоть. Да вы сами, сами у него спросите!

— Спросим, — не сдержался я.

— Спроси, спроси, начальник. Наубанов Таукэ у меня на квартире спит.

Я рассмеялся, и мне стоило больших усилий остановить свой хохот. Хохот, который мне самому очень не понравился: сдавали нервы после двухмесячного преследования.

Справившись с собственным смехом, я протянул в тон Ибраю:

— И спро-осим... Товарищ Орозов, прикажите капитану доставить сюда Наубанова Таукэ...

Когда капитан ушел, я полуобернулся к Ибраю:

— Раз я опоздал, скажите, гражданин, куда ж братья Аргынбаевы со своей бандой направились?

— В Синцзян...

— Дорога известная... Старая басмаческая дорога, — усмехнулся я. — Значит, сейчас они, если ушли, то идут по пескам Сары-Ишикотрау, а может быть, по долине Или, скрываясь в тугаях. К Аягузскому перевалу направляются...

Мы смотрели друг на друга, нагло улыбались и кивали понимающе.

— Чтоб найти их, тебе аэроплан нужен, начальник, — Ибрай попытался раздвинуть в улыбке губы, сведенные страхом и злобой.

— Есть самолет! — хлопнул ладонью по столу Орозов. — Он вас...

Я поднял руку:

— Подождите, товарищ Орозов. Видите, аксакал забавляется.

— Как это забавляется?

— Да так... Либо Таукэ и на фронте не был и руку не терял...

Орозов перебил:

— Знаю я однорукого Таукэ!

— ...либо не ушли никуда Аргынбаевы! Может быть, пока... еще...

Дверь отворилась. На пороге стоял паспех одетый человек в полушубке, чуть бледный, с быстрым взволнованным взглядом.

— Что стряслось, Ибрай-ака?

Тот отвернулся.

Я встал, властно приказал:

— Наубанов, подойдите!

Таукэ сделал три четких шага ко мне:

— Не оборачивайся! — и Орозову, кивнув на Ибрая. — Увести гражданина в отдельную комнату. Пусть капитан неотлучно находится при нем. И чтоб ни с кем ни слова! Увести!

Когда мое приказание было выполнено, я сказал Таукэ:

— Садись. Ты брат жены Аргынбаева?

— Да.

— Ты достал племянникам справки для получения паспортов?

— Да. Они с фронта вернулись. Справки у них из госпиталя. Под Сталинградом еще воевали. Контузии.

— Остальные пятнадцать — тоже из-под Сталинграда?

— Не-ет... Из разных мест. Все со справками — на излечении. На поправке. Временная работа. Рыба, хлеб — сыты. Хорошо поправлялись.

— Женщины с ними есть? — это был мой первый вопрос.

— Две.

— Одна или обе врачи?

— Одна врач, другая медсестра.

Не выдержали у меня нервы:

— Ты бригадир рыбаков или бригадир бандитов?

— Не понимаю... Зачем кричать? Почему надо кричать?

— У вас под носом делались эти справки! Когда должны вернуться люди с паспортами? Те, что в Караганду ездили...

— Вчера. Но не приехали.

— Вы уверены? А почему Ибрай говорит — приехали?

— Нет. Хотели приехать. Их два дня назад в Караганде еще видели. Люди сегодня с поездом приехали — они их не встречали.

— Пойми, Таукэ, ты пустил к себе в дом бандитов. Они убили шестерых в Бурылбайтале, троих в Киргизии...

— Мои племянники не могли меня так обмануть.

— Где люди, которые поехали за паспортами?

— В Караганде, утренним поездом приедут. Мои племянники не могли меня обмануть — они честные люди.

— Сколько паспортов они получат?

— Два.

— Не на всех?

— Нет. Только два.

— А Ибрай говорит — на всех. Кто подписывал справки на получение паспортов?

— Командир.

— Он беседовал с Аргынбаевыми?

— Что вы! С кем беседует командир? Некогда ему. Я отнес справки секретарше. Она сказала — через неделю приходи. Он подписал, секретарша отдала.

«Конечно, конечно, бумага о том, что Исмагул и Кадыркул Аргынбаевы разыскиваются, подшита секретаршей в папку с грифом «Секретно», и командир, вечно пишущий фанфарон со щеками, которые видно

из-за ушей, может, и расписался в прочтении, только не читал ничего!» — с горечью подумал я.

— Хабардин!

Вася вошел вместе с Ахмет-ходжой.

— Ахмет-ходжа, ты дважды водил банду Исмагула и Кадыркула грабить Иванов хутор?

— Да.

— Они убили здесь, в Бурылбайтале, шестерых — коммунистов и комсомольцев и угнали двадцать девять английских жеребцов-производителей?

— Они, начальник...

Наубанов потряс вскинутой рукой-культапкой и крикнул:

— Мои племянники не могли мне наврать!

Ахмет-ходжа проговорил тихо:

— Я им дальний родственник, ты — близкий со стороны матери. Клянусь, я правду сказал.

— Сам убью их! — культапка правой руки Таукэ странно зашевелилась: я догадался — он забыл об ампутированной руке и в запальчивости привычно искал пистолет, словно обманувшие его племянники стояли перед ним.

Тогда сказал я:

— Ни кулаком, ни палкой ты их не тронешь, Наубанов Таукэ. Как их наказать, решит суд. Ты едешь с нами, Наубанов. И Ахмет-ходжа тоже.

Понятно, я рисковал, может, по мнению некоторых моих товарищей, ненужно рисковал, высказывались потом такие суждения при разборе операции. Двух человек, каждый из которых был в той или иной степени замешан в деле Аргынбаевых, включить в группу по задержанию — опрометчивость, если не безрассудство. Любой из них мог стать на сторону банды. Ну а как иначе можно было проверить и совесть Ахмет-ходжи, и честность Наубанова? При встрече с бандитами Исмагул и Кадыркул непременно обвинят в предательстве и чабана, и Таукэ, если те добровольно, с охотой выполняли их требования или просьбы, предложения.

И только если бандиты под угрозой расправы заставили Ахмет-ходжу вести их на Иванов хутор, если Таукэ действительно ничего не знал о планах и обмане племянников, то тогда никто из банды не бросит им упрека. Я повторяю — никто из банды, никто из сем-

надцати бандитов-дезертиров, прекрасно знавших, на что шли, и наказание для них одно по законам военного времени — высшая мера. Я не знал, не слышал, и по моему твердому убеждению, нет бандита, грабителя, даже просто — подлеца, который из каких-то — человеческих, что ли, — соображений не повлеч за собой в яму своих дружков-соучастников. Это противостоит, чтоб подлость и убийство ни в чем не повинных людей вдруг толкнули бандита на благородный поступок.

Только взяв с собой Наубанова и Ахмет-ходжу, я имел возможность на деле проверить их причастность к банде Аргынбаевых или отместить от обманутого и принужденного какие бы то ни было подозрения. Стоило ради этого рисковать? По-моему, да.

Я позвонил в Алма-Ату, в НКВД республики. Был очень расстроен разговором. Но даже Васе ничего не сказал.

Нам принесли постели в кабинет. Я повалился на подстилку, как в омут. И проснулся оттого, что Вася тер мне уши, стараясь разбудить. В исподнем выскочил в темноте еще из барака и до пояса обтерся снегом на ледящем ветру. Лишь тогда почувствовал себя бодрым. Мы поели копченого усаца, жирного, прозрачного и вкусного, напились до отвала крепкого чая в караулке.

Пришел Орозов:

— Самолет ждет.

— Далеко до аэродрома, да и откуда у вас самолет?

— Сани мы зовем «самолетом»! — улыбнулся командир. — Мы их сами сконструировали и сделали из дюрала. Да вы не хмурьтесь, товарищ подполковник, сани, право, самолет. Пара лошадей развивают скорость до семидесяти километров в час. Кучером у вас будет капитан-артиллерист, серьезный лошадиник. Он никого к вороним не подпускает. Я думаю, он вас за два с половиной часа в Тасарал по льду домчит.

Спорить не приходилось.

— Хорошо, что с нами поедет капитан-артиллерист...

— Пока вы не позвоните, не скажете, как дальше поступать с Ибраем, он ни с кем слова не перемолвит. Можете не беспокоиться.

По глазам Орозова я видел, ему очень хотелось

знать, каким образом мы станем брать бандитов, и только профессиональная этика военного удерживает его от вопроса.

— Вы, товарищ подполковник, не беспокойтесь, — повторил Орозов. — Этот Ибрай ни словом ни с кем не перемолвится. Я ручаюсь. Тулупы вам дать?

— Мешать будут.

— Капитан, мы успеем к поезду? — спросил Таукэ.

— Он во сколько приходит?

— Девять тридцать семь в Тасарале. По расписанию.

— Постараемся... — кивнул капитан.

Времени оставалось в обрез.

У дверей караулки стояло странное сооружение, действительно похожее на самолет братьев Райт, без крыльев вдобавок. Два широких, матово поблескивающих полоза, скрепленных двумя дугами, тоже из дюрала и пять сиденьиц-жердочек. Но пара вороных была выше изумления. Тысячи коней я перевидал в своей жизни, до и после них, но таких мне больше не встречалось.

— Элита! — сказал капитан-артиллерист. — Иноходцы!

Коня стояли, словно литые, на высоких особых подковках-шинах. Вороные косили глазами на нас, и радужный, огненный в свете зари пар вырывался из их ноздрей.

Мы разместились позади и чуть повыше молчаливого, потемневшего лицом Таукэ и Ахмет-ходжи в его непомерном тулупе.

— Жду вашего звонка, подполковник, — сказал Орозов, и мы тронулись. Я даже не заметил, шевельнули капитан вожжами. Легкий, слитный переборный топот иноходцев был славен. Ошметки снега полетели нам в лица. Пришлось, прикрывшись воротниками, смотреть только в бок, отчего ощущение полета стало почти реальным. Но это только начало. Спустившись на серый лед, капитан пустил коней во весь опор.

Я сидел слева и видел высокие обрывистые берега, изрезанные бухточками и заливами. Обнаженные, то желтые, то скалистые, темные, они плыли мимо вроде бы медленно, не спеша, то приближаясь, то удаляясь от нас. Ощущение быстроты движения создавали снежные наметы на льду. На них сани подскакивали, бухали в сугроб с гудящим барабанным звуком. Мы то и дело меняли курс, словно шли галсами под парусами. Особен-

но широкие полосы снега капитан объезжал. Под ними ледяной покров озера мог истончиться, расплавленный теплыми глубинными водами под шубой сугроба.

Кое-где торчали искристые торосы. К ним мы не приближались.

Северный ветер срывался с береговых откосов, будто с трамплина. Порывы били с маху, и видно было, как в тех местах, где они ударяли о поверхность, завивались призрачные белые буруны и смерчи. Изредка напор летящего воздуха бывал настолько силен, что сдувал сани вбок, и лошадям приходилось скакать в стороне от «самолета». Мы чувствовали себя под ветром раздетыми, нагими, голышами и деревенели.

Вдруг за каким-то острым высоким мысом-утюгом стало тихо. Я попробовал вздохнуть глубже, да сведенные судорогой от холода мышцы не позволяли.

Капитан остановил сани.

— Что случилось? — спросил я, с трудом шевеля онемевшими губами.

— Встречный ветер идет. Боюсь, торошение начнет-ся. Правда, придется жаться к берегу. Можно переждать.

— Мы опоздаем к поезду, капитан, — процедил Таукэ.

— Да, мы опоздаем к поезду... — повторил я.

— Понятно.

И капитан снова пустил коней, держась под берегом.

Первый ледяной взрыв раздался у меня за спиной минут через двадцать. Тягучий гул и тяжелый удар, он ощутился и под нами. Скрежещущий стон слышался во льду и после удара. То был дальний взрыв.

Мы двинулись по самому прочному — береговому льду, покрытому толстым спрессованным настом, уповая на одно: на нашем пути не попадется трещина, скрытая снегом, или промоина.

Еще несколько взрывов прокатилось над озером, и оно стонало и ныло. Но все это далеко.

— Пронесло! — обернулся капитан. — А вон — Тасарал. За мыском.

По узкой щели мы выехали на высокий берег. Увидели на отлете приземистое здание железнодорожной станции, а у обрыва низкие бараки.

— Стой! — крикнул я капитану.

Кони замерли.

— Наубанов, иди на станцию и встречай тех двоих. Приведешь их к себе на квартиру. В каком они бараке?

— Вон — второй. Дверь обита желтым дерматином. Пятый тамбур.

— Где твои дети и жена?

— В соседнем бараке, у знакомых. В моей квартире одни... они.

— Ты все понял, Наубанов?

— Все, товарищ подполковник. Привести как ни в чем не бывало.

— Давай...

Капитан спросил:

— В штаб?

— Не-ет...

После разговора с Ахмет-ходжой, Орозовым и Наубановым я решил действовать здесь не так, как в Бурыйбайтале. Не мог я не верить Ахмет-ходже, Орозову и Наубанову — трем таким разным людям, что с командиром Тасаральского отряда невозможно быстро и толково договориться о совместных действиях. Да и его безответственные подписи под важными документами о выдаче бандитам паспортов не позволяли мне начать операцию разговором с виновным в халатности и головотяпстве — майором, прозванным «Пузырем».

Поверив столь разным людям, я оказался прав. Потом, когда мы уже поймали банду и Вася остался один охранять задержанных, а мне пришлось срочно скакать в штаб, командир охраны пропустил меня беспрепятственно, посмотрев мои документы. Однако очень строгая секретарша, испуганная моим внезапным для нее появлением, истрепанной одеждой, остановила меня: «Майор пишет доклад и никого не принимает». — «У меня очень срочное дело, — сказал я. — Доложите, пожалуйста». Секретарша заглянула в кабинет через двойные двери. «Майор говорит по телефону...»

Прошло минут десять. Я слишком спешил, чтобы ждать. Моих товарищей могло уж не быть в живых, и, возможно, только быстрая военная помощь могла выручить их. А поднимать шум в приемной — выяснять отношения, субординацию, принадлежность к ведомствам, — лишь замедлить срочное решение.

Но ждать я не мог, опять попросил доложить. «Разговаривает по телефону», — поморщилась секретарша, заглядывая мимоходом в зеркальце. Тут вызвали секре-

таршу в кабинет. Она встала из-за стола. Я проскользнул за ней.

Огромная комната во всю ширину барака была выстлана красными ковровыми дорожками, а по стенам стояло до полусотни новехоньких стульев, на которые, по-видимому, никто никогда не садился. Два письменных стола — один рабочий, другой, верно, представительский, виднелись в глубине кабинета. И два приставных стола отходили от них: от рабочего — покрытый зеленым сукном, а от представительского — красным. «Это надо же, — думал я, — как молва точно оценивает человека!»

Майор сидел за представительским столом и головы не поднял в ответ на мое приветствие. Я прошел к столу. Снова поздоровался, майор — ни гугу. Когда я в третий раз повторил вежливое: «Здравствуйте», — майор вдруг откинулся на спинку кресла: «Поч-чему ты здесь? Кто пустил?» Я протянул ему открытое удостоверение. Но он глядел только на мое обросшее, иссеченное морозом, ветром и песком лицо, замызганное, мокрое пальто. «Кто тебя пустил?! Во-он!» — небрежным жестом выбил из рук мое удостоверение. Тогда я, сдерживаясь, сел в покойное кресло у приставного стола. «Во-он! Забирай бумажку — и вон! Слышал!» — «Поднимите удостоверение...» — сказал я вслух. «Что? Вон! — майор покрыл отборным матом секретаршу и, задыхаясь, кричал: — Начальника караула! Комиссара! Быстро! — и мне: — А ну, подними бумажку!» — «Поднимите сами...» — «Что?» — «Поднимите сами...» — Казалось, майор лопнет от дурной чернильной крови, бросившейся ему в лицо. «Выкиньте оборванца! — приказал майор влетевшему в кабинет начальнику караула. — А тебя — разжалую!» — «Товарищ майор...» — «Молчать! Молчать!»

— ...это подполковник НКВД Кошбаев, — нашел в себе силы договорить бледный начальник караула.

— Поч-чему не доложили?.. — прошипел майор, вскакивая, одергивая китель и поднимая удостоверение. — Вы ищете бандитов? Они скрываются в Бурылбайтале... Нашли притон... Извините, заработался! Столько дел, товарищ Кошбаев... Начальник караула будет наказан, вы не беспокойтесь.

Я показал ему поддельные документы с его подписью.

— Вот ваши дела! И подписали сами.

Вся эта сцена произошла в конце операции. А прежде всего следовало задержать или уничтожить банду.

Капитан гнал коней к барaku, который указал нам Наубанов перед тем, как пойти на станцию.

Санки с лихого разворота остановились у двери, обитой желтым дерматином. Окна по обе стороны, точно плотными занавесками, затянуты изнутри и между рамами морозной наледью.

Фыркали, отдуваясь, вороные, переступали с ноги на ногу. Тонкими колокольцами звенели льдинки, налипшие на бабки, на шерсть выше копыт.

— Слушай, Хабардин. Вы останетесь здесь. Я сначала войду один. Если услышите выстрелы, бросайте в окна гранаты.

— А вы?

— Бросайте, не раздумывая! Если услышите выстрелы, меня уже не будет в живых.

Капитан сказал:

— Лучше сразу. Один черт.

— Войдете... когда я выйду или позову. Не раньше. Все.

Я опустил поднятый воротник пальто, завязал по городскому уши зимней шапки, потрогал за пазухой теплую рукоятку маузера, дернул дверь тамбура, старательно затопал в холодном коридорчике и, широко распахнув входную дверь, шагнул в морозном облаке внутрь. Пар еще не рассеялся, а я крикнул:

— Здорово, рыбаки! Бригадир здесь? Здесь Наубанов Таукэ?

Здесь! Здесь Исмагул и Кадыркул! Я чувствовал это. Задним числом припомнил — не натоптано, не наследовано у дверей в барак.

И увидел их. Вон — Исмагул! Прямой, надменный разрез рта. Прижатые уши. Тугие щеки подпирают узко разрезанные и широко расставленные глаза. Тяжелые надбровья. Вон он — сидит на кошме, вытянув раненую ногу. А Кадыркул? Он глядит на меня через плечо. Осторожно, косо, приподняв одну бровь, совсем как на фотографии. Маленькая головка, узкий лоб, словно стиснутый висками.

В руке у него пиала. В левой руке. Правая на перевязи, забинтована.

Но опознание еще не их собственное признание, что они-то и есть Исмагул и Кадыркул. Еще надо заставить

их самих сказать это. Кадыркул? Слишком ловок, чтоб вот так, запросто раскрыться. Исмагул — годится. Надо вызвать на улицу. А нога? Если откажется и пойдет Кадыркул?

Посмотрим, кто у них коноводит в действительности.

Секунда, две ли прошли в молчании. В нос мне ударил крепкий мужской дух, запах подгорающего хлопкового масла, пресного теста, портянок, овчины, засаленных одеял, которые аккуратной сложенной стопой вышались до потолка в правом от меня углу большой комнаты. Пятнадцать мужчин сидели на кошке в нательном белье. У двух раскаленных до красна печей из бочек две молодые женщины вылавливали шумовками из тазов, наполненных кипящим маслом, золотистые боорсоки — пончики из пресного теста, что напекают впрок на дальнюю дорогу. Еще пахло бараниной, а рыбой — нет.

Оружия не было видно.

А я искал взглядом именно оружие, да, бандиты, верно, чувствовали себя здесь в полной безопасности.

— Нет бригадира... — сказал молодой мужчина с пиалой в левой руке, потому что правая висела на перевязи. — Кто ты такой?

— Что? Не видно, что я ревизор?

— Нет Наубанова. Завтра приходи.

— Мне по другим бригадам ехать надо. Командир сказал — с вас начинать... А помощник бригадира? Актив?

Мне стало совсем яростно-весело, когда я рядом с Исмагулом, раненным в ногу, увидел Кадыркула, которого ранили в руку при перестрелке в Камышановке, когда братья убили Макэ Оморова, Нехаева и Коломейцева.

— Я за помощника. Чего тебе? — спросил Исмагул и поставил пиалу на кошму.

— Бригадира нет — с тобой поговорить надо...

Кадыркул поудобнее устроил перебитую руку. Сразу после ранения он, видимо, запустил рану, и она долго не заживала.

— Командир разрешил «поговорить»? — с подвохом спросил Кадыркул и взял пиалу, поставленную братом.

— Какой командир? Разве у командира спрашивают... Я к вам, к рыбакам...

— А бригадир ругаться будет...

— Не будет! Нам парочку рыбешек... усачей. Оголодали в городе, а тут холод...

— Спирта нет, — сказал Кадыркул. — А двух усачей копченых дам из кладовки. А ты запиши, что ревизию сделал, и не приставай к нашему бригадиру. На ключи, — и Кадыркул передал Исмагулу связку.

— Зачем же беспокоить хорошего человека? — я радостно взмахнул руками. И было от чего: оба — Исмагул и Кадыркул тут. Правда, нет Абджалбека, младшего брата Аргынбаева. Он-то и ездил с кем-то в Караганду, доставать паспорта. И еще яснее ясного: Кадыркул, хоть и младший, но верховодит неповоротливым верзилой, тугодумом Исмагулом.

Тут я заметил, что сидящий на краю кошмы, у самых моих ног, молодой парень прячет под себя пистолет.

Только этого не хватало.

— Конечно, не станем мы беспокоить хорошего человека! Добрый человек — редкость! А мы намерзлись. У вас-то тепло, — напрашивался я на чай. — Ах, какие боорсоки.

«Хоть бы пригласили! Хоть бы пригласили! Тогда этот молодой дурень не станет палить сразу. А своих уж как-нибудь предупрежу, — молил я про себя. — Пока-то они разглядят Ахмет-ходжу и что к чему сообразят...»

— Сколько вас? — спросил Кадыркул, пока Исмагул, крихтя, поднимался, брал из вороха одежды чей-то тулуп, накидывал.

— Сколько нас?! — все так же весело говорил я. — Сам четвертый, один без ноги, двое убогих. Кого ж теперь в ревизии посылают?

— Пусть заходят чай пить. К нам с добром — и мы не отстанем.

— Рахмет! Рахмет! — рассыпался я в благодарностях. — Что нам стоит подписать бумажку. Она не рыба, ее ловить не нужно, — продолжал я льстиво бормотать, пропуская в дверь Исмагула.

Мы вышли из тамбура. Исмагул остановился было, увидев сани. Вежливо подталкивая его, я бросил своим товарищам:

— Идите чай пить! Да осторожнее, осторожнее, не толпитесь в дверях! Холоду напустите! Там у входа парень молодой — простудится. Ах, какие боорсоки! —

и Исмагулу: — Ты, уважаемый, рыбку пожирнее выбери, — а сам доставал из-за пришитого козырька ушанки фотографию братьев, взятую у их воспитательницы; они на ней как раз втроем. — Не скупись, уважаемый... — И лишь мы свернули за угол барака в затишье: — Стой, Аргынбаев Исмагул!

Когда он обернулся, перед его глазами была фотография и дуло маузера.

— Какой я Аргын... — начал он и замолк.

— Руки! Руки вверх! Аргынбаев Исмагул... Лишнее движение — я твой череп на воздух пушу! Разве на фотографии не ты, не твой брат Кадыркул и твоя троюродная тетка? Разве не тебя и не Кадыркула ранили в тугаях в Камышановке?

Исмагул мычал, будто немой, и все глядел на фотографию, не понимая, наверное, каким чудом она оказалась у меня. А я очень беспокоился за товарищей — за Васю, за капитана и не знал, что предпримет Ахметходжа.

— Сейчас мы возвратимся, — сказал я. — Помни, в моем маузере десять патронов. В тебя, в первого, я не промахнусь. Иди, иди... И в остальных тоже, а Кадыркула пощажу. Он главный и расскажет все. Иди!.. Иди. И помни, твое лишнее движение — я стреляю.

Чтоб властвовать, их надо было разделить. Старший брат — Исмагул не мог простить младшему — Кадыркулу, что тот главный, даже в глазах врага.

Мы миновали тамбур.

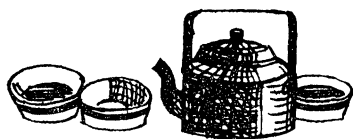
— Стань справа от двери, лицом к стене, — говорил я, думая, лишь бы он не загородил того парня, спрятавшего под себя пистолет. — Ну, открывай дверь! И помни...

Мы вошли.

— Произвол! Вы ответите! — звел голос Кадыркула.

И первое, что я увидел, — красное от натуги лицо молодого парня, сидящего на кошке. Он жал, жал на спусковой крючок пистолета, направленного прямо в живот стоявшего вплотную к нему капитана. А тот не видел!

— Ну! — гаркнул я Исмагулу. Тот ткнулся лицом в стену, я ударом ноги выбил из рук парня пистолет и поймал его в воздухе. — Ошалел от страха, мерзавец! Предохранитель-то спускать надо...



Молодец мой Вася! Распорядился он прекрасно! Первым в круге бандитов стоял Ахмет-ходжа с гранатой-«лимонкой». За ним Хабардин, а прикрывал их капитан. Трое против четырнадцати и двух женщин у тазов, наполненных кипящим маслом.

— Капитан, во двор! Остальным выходить по одному. Потом шубы вынесем! По одному, по одному! Женщины — в угол, в угол! По одному!..

Мы их всех усадили на снегу. Провели обыск и обнаружили в одеялах пятнадцать пистолетов.

Оставил я Васю и капитана с пятнадцатью бандитами и Ахмет-ходжой. К командиру отряда, к Пузырю этому, отправился доложить, что у него в расположении творится. До штаба километров пять-шесть было. Выпряг я одного вороного и без седла поскакал.

Вот когда Хабардину досталось. Капитан, хоть и с пистолетом, но в рукопашной схватке от него немного пользы — на протезе он. Ахмет-ходжа — плохой помощник. Гляди, как бы он сам не стал на сторону бандитов. А им терять нечего.

Свора сначала сидела тихо. Хабардин устроил их у освещенной солнцем стены барака. А сам с капитаном и Ахмет-ходжой в тени, около строения, что рядом. Чтоб хорошо видеть, заметить, если сговариваться начнут, попытаются напасть.

В бараках-то никого, рыбаки на лове. Женщины выглянут и спрячутся. Боятся.

Меж бараками расстояние небольшое — метров двадцать. За один рывок преодолеть можно. Это от силы три-пять секунд. В зимней одежде бандиты пока-то поднимутся. Пистолетов на морозе держать нельзя — откажут в нужный момент, застынет масло.

Тишина головокружительная — слышно говор женщин за стенками барака, а стенки-то утепленные. Вдруг снег скрипнул. Вася огляделся — нигде никого. И бандиты неподвижно сидят. Опять скрип — совсем явственный. Покосился Хабардин на капитана, на его протез. Может, он нечаянно ногой шевельнул. А тот сам на Васю с удивлением смотрит, брови вскинул.

Скрип все чаще слышится. Догадался Вася — рассредоточиваются потихоньку бандиты: то один двинется чуток, то другой. По сантиметру, по сантиметру, а дальше друг от друга. И следить за их действиями трудней и трудней. Пока на одном он свой взгляд остановит,

другой шевельнется. Вверх стрелять — что, бандиты этакого шума не слышали? В них — нельзя. Живыми приказано брать. Да и выстрели один раз, убей одного, остальных уж не сдержишь — ринутся. Дело известное.

Капитан забеспокоился:

— Что делать будем?

А бандиты поскрипывают. Уж заметно расползлись, полукольцом охватывать начали. В молчании все — скрипят, расползаются, окружают. Не убивать же их по одному, кто шевельнется? Два месяца ходили, искали, а нашли и взяли, да сохранить не сумели — это не работа.

— Знаешь что, капитан, — сказал Хабардин, — ты иди к углу барака, стань там и уж оттуда бей всякого, кто поднимется. Или пустится наутек. Стреляй! Или в барак захочет прорваться. Пали! Может, у них там еще чего из оружия спрятано.

— А ты? — спросил капитан. — В бою мне все понятно, а с такой поганью я дел не имел.

— Ничего, капитан. Я с ними справлюсь.

Достает Василий гранату-«лимонку», зажимает в левой руке.

— Уходи, уходи, капитан, — приказывает.

Тот послушался, подчинился.

Тогда Хабардин срывает колечко. Отпустить предохранитель ему осталось, чтоб граната разорвалась, — и все. Потом сам садится на снег.

— Теперь ползите, гады! Хоть медленно, хоть быстро. Только поближе, поближе ко мне. А вот когда я решу, что хватит, я разожму пальцы, и половины вас сразу не будет. Ну! Коли поняли — сидите смирно.

Потом положил «лимонку» за пазуху, чтоб не замерзла рука, и держал бандитов в страхе, пока я пробивался в кабинет к Пузырю, разговоры вел.

Приехал я тогда, конечно, с подкреплением — все хорошо.

А вот Вася с той поры болеет. Дорого ему дались те минутки.

Подошли рыбаки, помогли нам охранять арестованных. Пригласили байбиче — ну, пожилую женщину, чтобы обыскать женщин. Обнаружила байбиче у них в шальварах восемьдесят тысяч рублей денег. Пока шел обыск, со станции приехал Таунэ и привёз еще одного бандита. В коржуне у него нашли по три паспорта на

каждого из банды: полугодовой, годовой и трехгодичный, на чужие фамилии; подделанные справки из канцелярии отряда...

Обыскали мы всех еще раз тщательно. Когда подошел я к Исмагулу, он сказал вдруг:

— Я про Оморова, про Макэ хочу говорить.

Чувствую — свело скулы от ненависти, процедил сквозь зубы:

— Что ты хочешь?

А сам Васю подозвал, чтоб стал меж мной и Исмагулом. На всякий случай. Ну, как не сдержусь.

— Говори. Говори про Оморова Макэ, которого вы убили.

— Оморов потому погиб, что Кадыркул не хотел пойти с ним на свиданье. Нам передали — Макэ встречи с нами ищет. А Кадыркул ему засаду устроил.

— Для трибунала это не доказательство твоей невиновности.

— Я не о том, чтоб во внимание принимали. А как все было... Чтоб вы знали.

— Буду знать... Запомню на всю жизнь. Дядя ваш, Абджалбек, где?

Набычился Исмагул:

— Не знаю... Какой он дядя — бросил нас...

— Свинье не до поросят, когда на огонь тащат.

Отошел было Исмагул, обернулся:

— Макэ нам кричал. Звал. Мы на его голос шли... И стреляли!

— Замолчи! — заорал я. И спасибо Васе — отвел меня в сторону.

Ишь как сразу — «не дядя он нам — бросил нас...». Что ж, все верно. Иначе и быть не могло. Когда-то на Сарыджаз родовые старейшины — манапы предали свой род, своих соплеменников. Соплеменников, ради скота. Тогда было другое время. Сейчас толкают на убийство, на преступления своих родственников, кровных родственников. И тоже предают их. Сколько я видел такого. Только не Исмагулу и Кадыркулу думать о родстве с родовой знатью.

— Будет тебе, будет, Абдылда... — уговаривал меня Вася.

— Помни! Помни! — бушевал распалившийся Исмагул. — Тогда в камышах Оморов встретиться с нами хотел! Он пришел на место, ждал нас! Потом кричать,

звать нас стал. Мы тихо подошли и стреляли на его голос, в темноте.

Тогда я не выдержал, не смог сдержать себя. Я сказал им все, что узнал по телефону, когда из Бурылбай-тала разговаривал с Алма-Атой. Меня никто не просил скрывать сказанного. На суде они узнали бы правду. Но есть известия, которые лучше услышать днем позже. Жаль мне было парней — ни за что обрекли они себя на позорную смерть.

— Слушай ты, Исмагул! И ты, Кадыркул, слушай! Вы подло убили человека, шедшего к вам с миром.

— Мы убили кровного врага!

— Оморов шел к вам, чтобы сказать: вы — не сыновья Аргынбаева. Абджалбек обманул вас. Ваша месть и ненависть трижды глупы. Родные сыновья Аргынбаева прогнали от себя Абджалбека, а вы как бараны побежали за старым козлом. Вы коварно, предательски убили человека, шедшего к вам с миром. Нет преступления безумней и никогда не было. Если вы мужчины, то не мог Абджалбек помешать вам выслушать Оморова. Он сказал бы вам то же, что говорю я: вы не сыновья Аргынбаева.

— Врешь, — тихо сказал Кадыркул.

Было так безмолвно вокруг, что все слышали скрип снега под его ногами: он пятился в ужасе...

— Не может... Не может такого быть... — шептал Исмагул.

Понимал я — поверить в подобное с первого мгновения невозможно. Ведь они свою жизнь поставили на эту ось, всю свою страсть, стремления. Месть за отца сделалась движущей силой их разума, месть, которая ослепила их, превратила в послушное орудие.

— Нет, нет, — словно заклинание твердил Исмагул и пятился по похрустывающему снегу.

— Это есть! Есть! Вы не сыновья Аргынбаева! Незачем вам было мстить. Некому!

Исмагул дотянулся до угла меж стеной барака и тамбуром. Втиснулся в него. И долго еще мотал головой, не в силах осознать происшедшего с ними.

— Вы убийцы, подлые и глупые. Я не знаю, кто ваши родители. Но ваш отец-бедняк мог погибнуть от пули Аргынбаева, а мать могла умереть от голода, потому что Аргынбаев забрал у нее последнее.

— Мы не мстили?.. Мы только убийцы людей?.. — проговорил Кадыркул. — Мы не мстители?!

Он посмотрел на меня, перевел взгляд на Исмагула. Потом схватил в пригоршни снега, растер лицо.

— Мы убивали... своих?

— Да! — сказал я. — Так оно и было. Вы не сыновья Аргынбаева, и никому вы не мстили. Вы по указке Абджалбека убивали ни в чем перед вами не повинных людей. Слышите, Исмагул и Кадыркул?

— Ты правду сказал, начальник? — снова очень тихо переспросил тугодум Исмагул.

Не зная, как еще убедительнее подтвердить свои слова, я сказал:

— Киргиз я, ты казах. Могу ли я шутить с обычаями наших народов? Могу ли я солгать, что твой отец не отец тебе? Ты твердо знаешь — не могу.

Я отвернулся от них — не хотел смотреть на убийц Оморова, на тех, кто ослепил мальчишку-подпаска.

Постепенно собирался народ. Прибывшие со мной солдаты оцепили пространство меж бараками и никого не подпускали к арестованным. Но слух о том, что бандиты и убийцы чабанов из Бурылбайтала схвачены, распространился быстро.

По узким улочкам, переметенным снегом, желтым пополам с песком, шли люди к баракам на окраине расположения рабочего отряда. Они выходили из низеньких саманных домиков с плоскими крышами, переговаривались, соединялись в группы и двигались по ярко освещенному солнцем насту, под синим слепящим небом без единого облачка. Не из любопытства шли. Каждый хотел одного — своим словом, своим взглядом, своим присутствием выразить презрение к тем, кто попрал закон, поднял руку на достойнейших людей.

Теперь пришлось охранять бандитов и дезертиров от ярости народной.

Мы занимались своим делом — обыском, опросом. Следовало внимательно осмотреть стены барака. Потом начали по одному вызывать задержанных. Выясняли их личность, место прохождения службы или жительства.

Время от времени мне по делам требовалось проходить мимо арестованных. Исмагул и Кадыркул устроились на снегу отдельно от всех, все в том же углу меж стеной барака и тамбура. Они не прятались, просто уединились. Старший обнял младшего. Кадыркул ут-

кнулся в грудь Исмагула и что-то говорил, говорил... Возбужденно, с отчаянием.

Старший гладил его по плечу, успокаивал.

Вдруг Кадыркул ухватился за полу моего пальто.

— Зачем, начальник?..

Выдернул я пальто из его рук:

— О чем ты, не понимаю?

— Почему ты не убил нас раньше?! Почему?

— Сиди спокойно! — крикнул на него солдат охраны. — Сиди, кому говорят!

Но взвинченный разговором Кадыркул, не обращая внимания на охранника, попытался вскочить, и старший с трудом удержал его. К нам подбежал обеспокоенный Вася Хабардин.

— Что ему нужно? — спросил он меня.

— Начальник! — закричал вдруг в голос Кадыркул. — Начальник! Почему ты не убил нас с братом прежде... прежде, чем сказал... мы не сыновья...

— Зачем ты убил Оморова?.. Убил прежде, чем выслушал? Ты начал убивать!

Исмагул усадил младшего рядом, лопотал что-то, но Кадыркул уже не слушал его.

— Ах, начальник, начальник... Почему ты не убил нас с братом прежде... — стонал Кадыркул, прижавшись к широкой груди Исмагула. — Прежде чем сказал нам, что мы не сыновья.

— Замолчи! — не выдержал Хабардин. — Умей отвечать за содеянное. Не будь тряпкой.

— Ах, начальник, начальник... — продолжал, не слушая никого, Кадыркул. — Убей нас, убей сейчас, здесь... Не хочу жить! Убей, начальник!

— Мы не убийцы! — отрезал я. — Вот вы не стали бы возиться с нами.

— Ни я, ни брат не тронули бы тебя, услышь такую весть.

— Ты убил Оморова, не выслушав! А он шел к вам именно с этой вестью! Ты начал убивать! Слышишь?

Вася Хабардин осторожно стал отводить меня в сторонку.

— Полно, полно, Абдылда, — негромко приговаривал он.

Вскоре начальник конвоя поднял арестованных, построил и повел. Они брели по визгливой от мороза за-

снеженной дороге, не смея поднять взгляда ни на лица людей, ни на солнце.

Мы шли позади.

— И не братья они, поди... — сказал Вася.

— Само собой... не братья. Во всем обманул их Абджалбек.

— На суде они все равно об этом узнают... — И Хабардин посмотрел мне в глаза.

Не знал я, что ответить Васе.

Может быть, кто и смог бы завершить трагедию парней одним ударом. Я не смог.

— Пусть на суде... У меня язык не поворачивается.

— И у меня не повернется, — вздохнул Вася. — Пусть на суде им скажут...

Абджалбек? Поймали Абджалбека. И он то же сообщил.

Не были Исмагул и Кадыркул сыновьями Аргынбаева. Подобрал он, Абджалбек, беспризорников, пригрел и внушил им мысль, что они младенцами украдены у отца родного. И Аргын Аргынбаев завещал ему найти похищенных сыновей, что Абджалбек и сделал. И отдал на воспитание старухе Батмакан, чтоб в будущем иметь сообщников и крышу над головой при случае. А Батмакан правду нам говорила, она нехотя помогла Абджалбеку, воспитывая приемышей в духе дедовских традиций. И потом уж совратить «дяде» Исмагула и Кадыркула было легко. Толкнув их на убийство чекистов Оморова и Ненахова под Камышановкой, Абджалбек затем уже командовал «племянниками» как хотел.

Конечно, Макэ Оморов о чем-то догадывался, предложил обманутым приемышам встречу, но они устроили засаду, убили его и Ненахова, тяжело ранили Коломейцева, который не мог знать замыслов старшего уполномоченного отдела ББ. Но коли Макэ просил о свидании, встрече, переговорах — была на то веская причина. Была!

Не хотел Оморов, не хотел чекист, чтобы мертвое хватало за ноги живых... Обычаи, нравы, традиции народа — тоже оружие. В чьих оно руках — тому и служит: прошлому или будущему, злу или справедливости, которая всегда нуждалась в защите. Разве не в этом вечная юность и мудрость древних народных сказаний.

КРЫЛО ТАЙФУНА



I

Минуя поречные кусты буйно цветущей черемухи, участковый инспектор Шухов стал взбираться на каменистую крутобокую сопочку. Добравшись до знакомого выворотня, похожего на осьминога, Семен Васильевич примостился на одном из корней, перевел дух.

Скупая роса выпадала бисером. Она стряхивала с листьев исподволь, неторопко и даже в чаще кустов лещины едва смочила рукава и полы плаща. Сушь в начале лета предвещала ярые грозы. А пока разгоравшаяся заря обещала резвый звонкий день. Она мягко осветила вершины. Меж ними над долинами сквозили сиреневые пологи тумана.

Листья, травы и цветы пахли дурманно, истоиво.

Инспектор снял форменную фуражку, отер платком высокий лоб с наметившимися залысинами. Вот уже семь лет, отправляясь по делам в сторону предгорий, Шухов непременно поднимался на высотку, хотя ее можно было бы обойти и низом. Однако привычка брала свое, и он, словно впервые, оглядывал хорошо видный с высоты поселок Горный.

В тайгу чаще приходилось выбираться зимой. На лыжах, подбитых камусом, лейтенант, а теперь старший лейтенант, быстро выскакивал на знакомую сопочку, с которой когда-то впервые увидел селенье, ставшее его родным домом. И каждый раз, глядя отсюда на Горное, Семен Васильевич как бы наново открывал знакомый поселок. Инспектор подмечал, как в малых и солидных переменах Горное постепенно все больше становится похоже на макет в мастерской районного архитектора.

Будущей зимой, говорили, прибудет в поселок рудничное оборудование и начнут строить профилированную дорогу. Много еще перемен ожидалось в этом глу-

бинном таежном углу. Да и теперь людей уже понаехало немало. Дом инспектора стоит сейчас не крайним в порядке, а пятым. Вон он светится ошкуренными листовничными стенами, красуется резными наличниками — новостью в этих местах. Не так уж и хороши эти кленовые поделки, мастерил их Семен Васильевич сам. Да тем сердцу дороже.

Избу он тоже рубил почти что один. Не по нужде, в охотку. Местным жителям это понравилось. Они стали относиться к нему с большим уважением. Коли дом ставит — не «сезонный» человек, крепко решил тут корни пустить. Свой, значит, брат — таежник.

И на удивленье старожилам поставил он в палисаднике беседку, чтоб чай на свежем воздухе пить. Весной и в первую пору лета Семен не часто чаевал в беседке — мошка донимала. Но в июле, августе, когда гнус шел на убыль, любил за самоваром отдохнуть.

Налюбовавшись вдоволь видом Горного, инспектор двинулся дальше. Шел он не торопясь, той уверенной поступью, какой шагали в горные дебри старожилы и чьи ухватки стали и его, Семена, манерой.

Хождение по каменистым склонам, крутые спуски в распадки не мешали ему размышлять.

Дело, которое требовало его обязательного присутствия в отдаленном горном узле, не отличалось ясностью, выглядело пустяковым. И началось с разговора в известной всей округе беседке перед домом Семена. Приметил охотник Ефрем Шаповалов три дыма от костров на южном склоне дальних увалов. Там, где охотников быть не должно. Самому Шаповалову делать там было нечего: он продукты завозил промхозовским катером на зиму в охотничью избушку. Ефрем — новый человек в Горном, перебрался сюда после организации промхоза, когда заработки охотников стали подходящими, слыл отменным зверобоем.

Явился Шаповалов к инспектору под вечер, в день своего возвращения из поездки. В беседку зашел. Уселся за круглым столом против Семена. Повел разговор издалека. Видимо, не совсем был уверен Ефрем в своих подозрениях, но и таить их про себя считал делом постыдным. Прищулив один глаз от витиеватого дымка махорочной самокрутки, Шаповалов теребил рыжую, по-летнему ухоженную бороду и бросил, будто ком по снежному склону:

— Не понравилось мне, Семен Васильевич... костры на Хребтовой сопке...

— Эх, куда тебя занесло... — протянул сочувственно инспектор.

— На самой-то Хребтовой я не был.

— Те костры, что не понравились, в бинокль разглядывал?

— И бинокля с собой не имел. Откуда да и зачем? Я летом в тайгу не ходок.

— Егерю Зимогорову говорил? Или с Марьей Ивановной беседовал? Уж охотовед должен знать, кого там носит.

— То-то и оно... — медлил Шаповалов. — Федора Фаддеевича нет. Он в другой стороне от Хребтовой. А новый охотовед на смену Марье Ивановне еще не прибыл.

— Как их сын? Здоров ли?

— Вопит — любо-дорого. А Марья Ивановна сказала, что, мол, в той стороне не должно никого быть. Ближе есть один охотничек. Комолов Антон. Он заходил к егерю. Сообщил, что к Хребтовой направляется. Но ему того склона с кострами не увидеть. Понимаешь?

Район, о котором говорил Шаповалов, считался в промхозе чем-то вроде заказника, где шло естественное воспроизводство зверя. Располагался он между ближними, довольно бедными участками, и дальними, куда охотничьи бригады доставлялись вертолетами на всю зиму. Летними месяцами там пока на мясного зверя не охотились: за морем телушка полушка, да рубль перевоз.

Семен Васильевич знал, что начало лета — мертвый сезон в охоте. И лишь одна добыча могла интересовать промысловика — панты. «Убить панты», как говаривали таежники, дело трудное, требующее большого умения и особой выдержки, но и доходное. Хорошие молодые, еще не окостеневшие рога изюбра ли, марала ли сотни рублей стоят. Лекарства их способствуют заживлению ран, их применяют при лечении многих болезней. И нет, пожалуй, лучшего средства для подкрепления сил уставшего человека. Не одну тысячу лет пользуются люди этим лекарством.

— Загадка-то в том, Семен Васильевич, — продолжал Шаповалов, — что не продано в те места ни единой лицензии на отстрел изюбров. А что Комолов поблизо-

сти, так особая статья. Порадели, можно сказать, чтоб парень подзаработал.

— Это и для меня не секрет, — кивнул Шухов. — Только кто там так нахально безобразит?

— Да уж не местный. Мы на сворке ходим, — и, спохватившись, добавил: — Чего нашим безобразить, когда на заработок жалоб нет...

— И то верно... — согласился Семен, но слова «на сворке ходим», запомнил. — На что ж тот браконьер надеется? Как собирается уйти? — спросил Шухов скорее самого себя, нежели собеседника, и ответил: — Через десять-пятнадцать дней панты ороговеют и годны станут лишь для вешалки, обесценятся...

— Так кто ж знает, может, и не безобразят там, — тихо проговорил Шаповалов. — Чего ж зря беспокоиться. Вон, прошлым летом, сам знаешь, пошли братья Панины, а там и не браконьерничали вовсе, а ученые букашек собирали. Поди ж, разберись. Столько всяких людей тайгой занимается, что скоро продыху не будет. Плюнь, ан на чей-нибудь воротник угодишь.

— Это верно... — кивнул Семен Васильевич. — И кому, как не охотнику, за тайгу заступиться.

— Оно конечно... — хмуро продолжал Шаповалов. — Однако один на один с лихим человеком встречаться... оно... и накладно выйдет. Мое дело сообщить.

— Вот и сообщил, — усмехнулся Шухов. — Твое ж охотничье добро, может, грабят.

— То-то и оно, что «может». А на дворе — сенокос. А там, может, и не грабят...

«Что ж, при таких обстоятельствах не возразишь, — подумал старший лейтенант. — В селенье сейчас один день почти год скотину кормит. А идти туда да обратно — едва за полторы недели управишься. И рассуждать особо не приходится — идти надо. Добро еще по дороге удэгейцы встретятся. Они люди наблюдательные. На чужака в тайге у них особое чутье... Ждать нельзя! Если там кто-то «убил панты» и за ними только и пришел, скроется этот человек. Через Горное чужие не проходили... Но могла какая-либо экспедиция изменить маршрут. С ними такое случается. Может быть, и миновал какой человек Горное стороной... Однако не без ведома кого-нибудь из здешних... Комолова, может, того же... Только откуда у него знакомства на стороне?»

Инспектор прикинул, сколько мог Антон Комолов заработать за первый год охоты в бригаде. Получалось, что вполне хватало ему на три лицензии.

Словно подслушав мысли инспектора, Шаповалов заметил:

— Антошка Комолов тут, пожалуй, ни при чем. Совесть у парня есть. Так я пойду, Семен Васильевич.

— Добро, Ефрем Сидорович, — кивнул инспектор, но охотник не встал, некоторое время крутил в пальцах бороду.

— К Зимогорову можешь не заходить. Глядишь, день пути сэкономишь. А жене его я все точно рассказал. Вернется, так, я думаю, тебе подсобит.

— Спасибо...

— Если бы не Серегина нога да сенокос...

— Само собой...

Ефрем Сидорович посидел-посидел на приступочке рядом с задумавшимся инспектором и решил, что он свое дело сделал, а сенокос — так как же его упустишь? Поднявшись, Шаповалов нахлобучил кепчонку на свою рыжую гриву:

— Бывай, товарищ инспектор.

— Подожди, Шаповалов, — Семен Васильевич тоже встал. — Ты планчик-то мне оставь.

— Планчик?

— Ну да. Ты, Ефрем Сидорович, когда говорил, очень уж точно показывал, где на Хребтовой сопке костры видел. Будто по бумаге.

— Ишь ты... — покрутил головой Шаповалов.

— И планчик-то, пожалуй, у тебя в кепочке лежит.

— Ей-ей, в кепочке, — рассмеялся охотник и достал сложенную по-солдатски газету для самокруток. Развернув лист, Шаповалов оторвал клочок, на котором были нарисованы характерные очертания Хребтовой, а на склонах ее обозначения трех костров. — Ружьиш-ком-то, поди, балуешься, Семен Васильевич? Самая пора.

— Спасибо за совет, — кивнул старший лейтенант. — Давно вволю не охотился. Придется лицензию взять, да и мясца на зиму подкоптить. Коли тревога напрасная, то на обратном пути в самый раз выйдет.

— А сумеешь?

— Наловчился, Ефрем Сидорович...

И они распрощались довольные друг другом.

Над сопками догорал рдяный закат, а хребтики против его света гляделись черными, плоскими. Лишь вдали на склоне увала остро и колюче лучился огонек, словно звезда в кромешную ночь. Зудела мошка. Из тайги тянуло холодком.

Войдя после беседы с Шаповаловым в дом, Семен прошел в кухню и стал собирать котомку. Жена его, Степанида Кондратьевна, а попросту Стеша, учительница поселковой школы, оторвалась от книги.

— Как раз и ужин готов, — сказала она, догадавшись еще во время разговора мужа с охотником о скором его уходе.

Семен прекрасно знал, что ужин готов давно и его надо, пожалуй, разогреть.

— Заговорились малость.

— Ты ватник все же возьми...

— Придется. За десять дней погода десять раз переменится может.

— Чай не забудь, — улыбнулась Стеша. Она легко и быстро ходила по избе и как-то само собой у нее получалось, что ни тарелка не загремит, ни ложка не звякнет.

Намек на единожды забытый Шуховым чай звучал не упреком, а напоминанием о том времени, когда Шухову после свадьбы надо было отправляться в тайгу надолго, а он знал, что встреча с браконьерами может быть опасной, и очень волновался за Стешу.

Они сели за стол. Семен с удовольствием смотрел на прибранную, подтянутую по-городскому жену, на ее светлые волосы, расчесанные на прямой пробор и опускавшиеся к щекам гладкой волной, на смелый разлет ее бровей. Перед расставанием в душе Семена поднималась как бы теплая волна удивления, что вот эта женщина, лучше и краше которой он не встречал, — его жена. Она будет ждать и волноваться за него. И вообще, что бы он делал без нее, вот этой женщины с теплыми карими глазами, ловкой и гибкой? И как всякий раз, Семен ощутил невероятность самого своего существования без Стеши.

Возвращаясь в мыслях к разговору с Шаповаловым, Семен спросил жену:

— Что за человек Комолов? Как ты думаешь?

— Каков мой ученик? Ты об этом?

— Разве не одно и то же?

— По-моему, нет. Ученик, пожалуй, первая профессия, которую осваивает человек. В классе он приобщается к труду, систематическому, серьезному. Бывает, эгоист до мозга костей, честолюбец из честолюбцев — отличный ученик. А хороший парень, который никогда не оставит товарища в беде, чуткая душа — не умеет сосредоточиться, не организован. Значит, и недисциплинирован, не прилежен, хотя и способен.

— Хорошо, — терпеливо сказал Семен. — Какой ученик Комолов?

— Любит труд. Математический склад ума. Порой старается сделать общие выводы на явно недостаточном основании. Вдумчив, но не очень наблюдателен.

— Ну а человек? Каков он как человек?

— Любовь к обобщениям может сыграть с ним злую шутку.

— Значит, «человек» и «ученик» — почти одно и то же.

— Именно почти. Характеристика ученика — констатация фактов, их сумма. Ответ на вопрос — «каков человек?» — прогноз. Тут можно лишь предполагать. По-моему, он может пренебречь мелочью, с его точки зрения... Но очень важной. Иными словами — способен допускать глупые, грубые ошибки.

Выйдя из-за стола, Шухов не смог бы вспомнить, что он ел за ужином. Впрочем, он и не задумывался над этим.

В райотделе, куда Шухов позвонил поутру, весьма заинтересовались сигналом Шаповалова, но и явно разочаровались, когда участковый инспектор сказал, что данные еще не проверены. Семену Васильевичу предложили вертолет, чтоб побыстрее добраться. Однако старший лейтенант попросил разрешения самому провести разведку. Вдоль Горное было ближайшим населенным пунктом к Хребтовой, а гонять вертолет попусту, что не исключалось, — дело накладное.

Доводы Шухова начальнику отдела показались резонными. Единственно, что не устраивало его, — сроки. Но в конце концов сошлись на десяти днях. Если тревога напрасна, то Семен Васильевич тихо и спокойно вернется с «охоты» и сам позвонит, а коли дело действительно серьезно, то Шухов станет действовать по обстановке.

— Может, вам, Семен Васильевич, Шаповалова - с

собой взять? — настойчиво, но не приказывая, спросил начальник.

— Простите, товарищ капитан, но нет смысла людей от дела отрывать. Если бы уж наверняка шел, другое дело.

— Мне из района не все видно, товарищ Шухов.

— Позвольте действовать по обстановке. Понадобятся помощники, я и в тайге их найду. Право, товарищ капитан.

На том и порешили. Про себя же Семен Васильевич подумал, что если бы кого он и взял с собой в тайгу, то своего старого друга Федора Зимогорова, с которым не раз хаживал задерживать браконьеров. А те заведомо знали, на что шли, и не пожалели бы при случае пули. Однако они с Федором Фаддеевичем умели застать вооруженных воругов с поличным и брали их без выстрела....

Семен взял напрямки через сопочную грядку в лиственный бор. Считай, три перехода. А оттуда до Хребтовой рукой подать. Всего два дня пути. По дороге Шухов рассчитывал встретиться с пантовщиками-удэгейцами. Они-то наверняка что-нибудь приметили.

II

На солонцовой поляне в ночи искрилась грязь, а серебристые под луной листья, словно чеканка, очерчивали купины кустов. Тягуче пахло черемухой. Ее заросли маячили впереди, на той стороне распадка. Место, где росла черемуха, Антон Комолов помнил точно, как и то, что слева от поляны поднимался стройный кедр. Лунные лучи, если присмотреться, обозначили до единой хвоинки, сизой, как сталь. Только надо беречь глаза, надо лежать тихо, и лучше на время смежать веки. Да не уснуть ненароком, поддавшись смутной тишине.

«Зенки устают скорее, чем уши... — еще прошлой осенью поучал Антона человек, знающий охотничье дело, — Гришуня. — И еще: когда смотришь, голову надо держать. Иначе шея задубеет. Тут уж терпежу не хватит — хоть как-никак шевельнуться надо. Отдых шее дать. А нельзя! Так ты по-собачьи лежи, будто растаял весь. Чтоб всякая жилка в тебе свободной себя чуяла.

А умом ты — на взводе. Чтоб раз — и готов: стреляй, бей!»

Лежать вот так, по-собачьи, было действительно очень покойно, даже на деревянной платформе, прочно поставленной меж ветвей крепкого маньчжурского ореха, метрах в пяти над землей. И лабаз этот, как говорят охотники, построил и подарил ему Гришуня. Так и сказал: дарю. Было у него несколько дней, свободных от научных занятий в промхозовском заказнике.

Если открыть глаза — а их надо открывать, — то не сразу разберешься, где поблескивающие листья кустов и где просверкивает грязь. Вроде бы земля и небо поменялись местами. Странно, но оно так.

Четвертая ночь настала. Но вот придет ли сегодня сюда, на этот солонец, изюбр? В самую первую полночь явилась полакомиться солью телка с теленком. Раз, ну два хрупнули ветки у нее под копытами. А вторая ночь пришла темной, словно ватой заткнули уши, такой глухой была тьма и теплой, влажной. В третью тоже не пофартило.

Под ветровым потягом чуть слышно забились листья над головой Антона. Он не спеша разомкнул веки и увидел переливчатые очертания кустов и легкую рябь на солонцовых лужах.

Резко вскрикнула козуля. Совсем неподалеку. Ей откликнулась откуда-то снизу другая, столь же неожиданно, будто кто кольнул животное.

«Идет?» — Антон задержал дыхание.

Но солонец был пуст.

Истошно, по-кошачьи, прокричал филин.

Еж, топоча лапами по слежавшейся прошлогодней листве, заторопился куда-то.

«От не спится полуночнику...» — вздохнул Антон. Он прикрыл веки и снова начал напряженно вслушиваться. Молодой охотник уже обтерпелся за недельное пребывание в тайге. Сердце его не замирало при любом шорохе, и он уже мог различить: шаркает ли однообразно ветка о ветку или зверь пробирается в непролазной чаще. И даже когда он заслышит или вдруг увидит зверя, то и тогда не трепыхнется его сердце вспугнутой птицей; удары делались отчетливыми, упорными, и карабин не дергался от его стука.

Чавкнуло вроде...

Открыв глаза и поведя головой, Антон заметил:

что-то изменилось на солонце. Очертания кустов выглядели по-иному, сдвинулись. Особенно густая тень в левой стороне от солонца. Там, где высокие заросли. И поблек свет на листьях, они уже не походили на чеканку. Вроде бы развиднелось. Плоская стена тьмы обрела глубину. Взгляд стал различать пространство меж кустами и деревьями. Черемуха поодаль засветилась. Ее пронизал лунный свет.

Антон понял, то луна опустилась к гольцам, сопочным вершинам.

«Пожалуй, не придет изюбр при луне, — подумал Комолов. — Подождем. Дольше ждали».

Снова послышалось слабое чавканье.

Тут же несколько мелких, торопливых, помягче.

И около куста слева от Антона на грани света и тени обозначился силуэт косули.

«Ну, ну, лакомись... — подбодрил ее про себя Антон. — Стоит удобно. Ловко можно пулю под лопатку кинуть. Так и просится на выстрел... Ух ты...»

Комолов замер. Он перестал дышать, потому что косуля вдруг насторожилась и обернулась в сторону куста, росшего как раз перед лабазом, метрах в пятидесяти. И около него стоял изюбр-пантач. Он как будто сразу вырисовался из тьмы и обозначился четкими, но плавными линиями. Серебрились панты о восьми сойках-отростках на изящной, гордо посаженной голове. Крепкая шея словно вырастала из купины куста.

«Пройди, пройди еще немножко... — молил изюбра Антон. — Пройди, ну два шага... Открой лопатку. Мне выстрелить нельзя... Раню тебя только...»

Но зверь подался назад. Серебристые панты слились с кустом. По очень слабому шуршанию листьев о шкуру зверя, шарканью, о котором Антон скорее догадывался, нежели слышал его, охотник понял, что олень не ушел. Чувства Антона предельно обострились. Он будто видел, как раздвигаются под напором статных плеч самца упругие ветви и остро пахнущие гроздья соцветий трогают нервные ноздри пантача, мешая ему уловить запах тревоги, запах человека.

Комолов изготовился к выстрелу, прижал к плечу карабин и отчетливо различил на мушке у конца ствола тонкую свежеструганую щепочку, которая облегчала прицеливание. Мушки-то в темноте можно и не различить.

И вот в рассеянной, обманчивой и густой после захода луны тьме изюбр вышел на солонец. Когда он подставил охотнику бок, тот совместил вырез прицела, светлую щепочку мушки карабина и убойное место на силуэте быка, чуть ниже лопатки. Оно было не видно на тени оленя, но зверобой хорошо знал, где сердце изюбра.

Занемевший от ожидания и напряжения палец охотника плавно повел спусковой крючок. Приклад тупо толкнул в плечо. Тишину тайги разорвал грохот выстрела. Пантач взметнулся и бросился в сторону.

«Нет! Он убит! Он убит!» — подумал Комолов. Он был уверен в себе так, словно не пулей, а своей рукой пробил сердце изюбра. Антон закинул карабин за плечо, юркнул в лаз на помосте и соскользнул на землю по гладкому стволу. Не разбирая дороги, он бросился по грязи солонца в ту сторону, где была добыча.

Бык лежал темным валуном неподалеку от куста. Не слышалось ни храпа, ни дыхания. Вынимая на ходу из-за пояса топорик, Комолов уже без настороженности подошел к мертвому изюбру. Прежде всего потянулся к пантам: целы ли? Падая, изюбр мог ненароком обломить отросток. И тогда — прощай, цена!

Руки Антона чуточку дрожали, сказывалось напряжение четырех ночей. Он дотронулся до бархатистых и теплых, наполненных кровью пант. Целы все сойки, все восемь. Антон ощупал их — мягкие, упругие, добротные. Потом вырубил панты вместе с лобной костью и принялся разделывать тушу.

Он делал это не очень ловко и долго. Стало светать.

Каркнула ворона раскатисто и радостно. Издали откликнулась другая, и еще одна. Вскоре они прилетели. Покружились и расселись на сучьях, время от времени голосисто крича от голодного нетерпенья, переступая с лапы на лапу. Перелетая с ветки на ветку, косились вниз на даровое угощение.

Затараторила, защелкала крыльями чем-то встревоженная голубая сорока.

Кто-то вломился в кусты неподалеку, и Антон поднял взгляд: Гришуня!

Кряжистый малый с городской аккуратной бородкой вышел из зарослей. Гришуня широко улыбался.

— Привет, охотничек! — помахав приветственно рукой, прошел к пантам и довольно цокнул: — Ладные!

Держался Гришуня в тайге по-свойски, уверенно, непринужденно, не в пример иным знакомым охотникам, но этим-то и нравился он Комолову больше других.

— Вишь, к завтраку поспел, — сказал Гришуня.

— Забирай печенку да иди к балагану. Я тоже проголодался.

— Тихо тут в этом году.

— Ушли подале. Берегут заказник. Мне только и разрешили около пострелять.

— Начальство тебя, Антон, любит. Али навестить придет? — Гришуня поддел изюброву печень на солидный сук, попробовал, не сломится ли он под ее тяжестью. — Ждешь гостей-то, а?

— Некого. Да и некогда, поди, им.

— Окотилась охотоведача? — хохотнул Гришуня.

— Мальчика родила, — осуждающе заметил Комолов.

— Способная... — словно не слыша укоризны в голосе Антона, продолжил Гришуня, но добавил примирительно: — Вот видишь, еще один сторож в тайге прибавился.

— А твои дела как?

— Прижились выдрочки, перезимовали. Еще неделю-другую погляжу, да можно, и докладывать начальству...

— А Зимогоров про тебя не спрашивал.

— Так и должно быть. Скажи Зимогорову — все узнают, что выдры выпущены. И пойдут зимой стрелять. Велено подождать с оповещением. Да и Зимогоровъ участок не здесь. Чего ему беспокоиться?

— Ну, он-то по-другому думает. Царем и богом здешних мест держится. «У меня под началом целая Голландия по площади».

— Думать — не грешить, как мой папаня говорит.

— Жаль, что нет у тебя времени с ним потолковать. Вот бы причесал его.

— Всех причесывать — для себя в гребешке зубьев не останется, — довольный собой, Гришуня цокнул языком. — Не нравится, выходит, тебе егерь?

— Егерь как егерь. Я уж говорил тебе. Только вот у тебя находится для меня время, а у других — нет. Я, сам знаешь, с четырнадцати лет охочусь. Походил с промысловиками. Присматривайся, говорят, думай.

Ну, присмотрелся, а чего обдумывать — не знаю. «Делай, как мы», а сами каждый раз по-иному поступают.

— Точно, — кивнул Гришуна, пристально присматриваясь к тому, как работал ножом Комолов. Действовал он быстро и ловко, и было совсем непонятно: чего приспичило Антону жаловаться на наставников-промысловиков? Делом они заняты — верно.

«А будь ты мне не надобен — стал бы я с тобой разговоры разговаривать? — подумал Гришуна. — Ну, а за сведения, что не собирается сюда никто, — спасибо. Надо бы тебя по шерстке погладить». И Гришуна сказал:

— Что человек, что скотина, тыкается в бок матери, пока в вымени молоко есть. А с тебя чего промысловики возьмут? Шерсти кллок?..

— Я к тому и говорю: ты, Гришуна, другой человек. У всех спрашивать да клянчить надо, а ты сам сколько для меня сделал. Видишь, надобно мне что-то, сам догадываешься. Я каждый твой совет помню.

Резковатый в движениях Антон выпрямился, посмотрел на своего друга — рубаху-парня. Увидел крепко разбитые олочи на ногах Гришуны: мягкая трава-ула высовывалась из разъехавшихся швов:

— Ты уже, видать, давно здесь?

— Олочи-то разбиты? — Гришуна, проследив за взглядом Антона, рассмеялся, но глаза его оставались серьезными. — Нитки, хоть и капрон, да не сохатины жилы. Кожу рвут, проклятые. В городе олочи шили. А я и месяца здесь не нахожусь. Мне, сам понимаешь, панты совсем не нужны. Случайно время совпало... А в какой ключик мясо снесешь? День жаркий будет.

— Внизу. Вон там, в зарослях лещины.

Гришуна подумал было, что есть родник и поближе к балагану Комолова, да решил промолчать. Многознайство требует объяснений, а этого Гришуне совсем не хотелось. Главное, парень привязался к нему крепко.

— Я лишние олочи с собой в запас взял. Вот и подарю их тебе. Сам шил, без капрона. Не разойдутся по швам. Для милого дружка и сережка из ушка, — стараясь подделываться под манеру Гришуны говорить присловьями, добавил Комолов.

В полдень второго дня пути инспектор стороной миновал сопочную грядку. Заночевал в старой охотничьей избушке. А еще через сутки Семен оказался в лиственный бору, памятном по давнему сложному делу о гибели лесничего.

Тогда, приступив к службе на новом месте и не зная еще людей, не разобравшись в непонятных ему взаимоотношениях, он верил всем безоговорочно. И едва не попался на удочку хитрого, хорошо продуманного наговора на честного охотника Федора Зимогорова.

Сколько же тогда пришлось ему проявить настойчивости, чтобы добиться снятия с Федора ложного обвинения. Не было ни одного факта, ни одного свидетельства в пользу Федора Зимогорова. Ни единого. Кроме отношения к нему охотников, которые считали: человек он — болеющий за общее дело — создание промыслового хозяйства в тайге, организации тогда новой, но многообещающей и для таежников и для государства, и такой человек не может быть плохим.

Доказать непричастность Федора к гибели лесничего, отвести подозрения в убийстве могло лишь одно: экспертиза оружия лесничего, вскрытие трупа утонувшего в трясине. Но как извлечь лесничего из болота? Это невозможно, невероятно даже летом, а тем более зимой...

— Здравствуй... Багдыфи, милиция... — услышал Семен негромкое приветствие и вздрогнул от неожиданности. Справа от него, в пяти шагах стоял старик удэгеец в пестрой одежде. Он словно возник здесь мгновенно, сказочным образом.

Удэгеец смотрел на инспектора добрым, светлым взглядом.

— Здравствуй, Дисанги. Откуда ты?.. — проговорил Семен и запнулся. Очень уж хотелось спросить «взялся», да неловко. Семен почувствовал себя скверно: посмотрел человека в пяти шагах, а еще минуту назад старший лейтенант искренне считал себя достаточно опытным таежником.

Старик чуть развел руками, отвечая на недосказанный вопрос. Мол, тут и стоял, давно стоял, на тебя смотрел, ты подошел — здравствуй сказал. Но спросил Дисанги о другом.



— Почему так задумался, инспектор? — вопрос был спасительный. Невежливо интересоваться, почему же, идя по тайге, человек не заметил другого. Так можно и в когти хищника угодить.

— Я немного и к тебе шел... — коверкая русский, ответил Семен. Это получалось ненароком. Почему-то казалось, что если говорить, подделываясь под строй чужой речи, то тебя легче и правильной поймут.

— Вот и нашел. Рад тебе, инспектор. Идем к табору. Кушать будем, чай пить будем.

Они направились через лиственный бор в сторону болота. Летние лиственницы не нравились Семену. Мочковатые сучья выглядели уродливо, а венчики хвои, торчащие из мочек, казались редкими, бледными, художочными. Редкий подлесок меж стволов выглядел куда ярче, пышнее, наряднее.

— Плох я охотник стал. Руки, ноги совсем не охотники, а если головой охотник — плохая охота, — бормотал Дисанги, вроде бы не обращаясь к спутнику.

— Как это — «головой охотник»? — из вежливости переспросил старший лейтенант, глубоко переживая свою оплошность.

— Молодых учи. Только говори, пальцем тыкай. Охота — не ходи. Рука — не та, глаз — не та. Однако голова еще та. Голова не та — пропал человек.

В нежный дух лиственничного бора стал вплетаться резкий запах костра.

«Ну, здесь-то я определенно почуял бы присутствие человека, — попробовал успокоить себя Семен. — Конечно, не мне соревноваться с «лесными людьми». Однако и отчаиваться не стоит».

Словно отвечая на мысли Семена, Дисанги проговорил:

— Я тебя в распадке увидел. Ты травой шел — одни верхушки шевелились.

— А говоришь, Дисанги, глаза не те! — рассмеялся Семен. — Ведь распадок, пожалуй, в полукилометре от табора и просматривается плохо.

— Нет, инспектор, не те. Не те. Нос и тот плохо чует. Раньше сильно лиственница пахла, а теперь нет.

— Может, лиственница и виновата? — мягко улыбнулся Семен, пытаясь подбодрить старика, крохотного рядом с ним. Удэгеец был в круглой цветной шапочке, в накидке, спускающейся из-под нее на сухонькие пле-

чи, с бело-черными, как бы тигровыми разводами. Летом она прикрывает шею и плечи от гнуса, а зимой — от снега.

Они подошли к тлеющему костру, который курился, разгоняя дымом мошку, сели около.

— Лиственница осталась прежней... Ты добрый человек, милиция... Когда ворон голову стрижет, кета идет... Когда кета идет, ворон голову стрижет, осень садится на гольцы... А?

Дисанги замолчал. И Семену нечего было возразить. Действительно, одно дело — совпадение: ворон роняет перья с головы, и тогда же начинается ход кеты. И совсем другое — время, которое обуславливает и первое и второе. И не лиственничный аромат изменился, а Дисанги в старости чувствует его иначе. Нет, не сочувствия ожидал Дисанги...

Глаза старика, скрытые в морщинах, совсем сузились, и Семен не мог поймать взгляда Дисанги. Удэгейец смотрел искоса, и лицо его, которое, казалось, излучало добродушие, теперь как бы одеревенело.

Дисанги сказал неожиданно:

— Не видел чужака в тайге. Если шел — не от Горного шел. Другой дорогой... Через гольцы переходит тогда. Однако...

Третий раз виделся инспектор с Дисанги, но если бы встреча оказалась сотой, то и тогда Шухов не перестал бы поражаться наблюдательности старика. Семен чувствовал себя мальчишкой рядом с ним, учеником у таежного ведуна. Но теперь, когда Дисанги понял, зачем инспектор здесь, Шухов мог проследить за ходом мыслей удэгейца. Раз котомка у инспектора за плечами, то по ее объему несложно определить, сколько времени он собирался пробыть в тайге. Инспектор один и карабин при нем. Карабин у инспектора — он идет в определенное место, с пистолетом в тайге много не сделаешь. Один идет инспектор — либо не знает точно, где браконьер, либо нет дома егеря Зиморова.

— Плохо, Дисанги, — сказал инспектор. — Плохо, что он пришел с другой стороны сопочной гряды.

— Плохо тебе, ему хорошо... Хорошо ему — плохо нам. Он высоко ходит, ему далеко кругом видно.

Семен Васильевич понимал: если хозяин костра говорит охотно, за гостем остается право, открыться ли в

своих намерениях, промолчать ли, считая, что большего не требовалось. После того как он не заметил в пяти шагах от себя удэгейца, Семен Васильевич не хотел надеяться только на себя. Да вот беда, Семен по опыту знал: упросить или заставить охотника бросить пантовку — вещь бесполезная, бессмысленная даже. Одна надежда — посвятить в дела старика Дисанги и попытаться все-таки убедить его пойти с ним.

— Что задумался, инспектор? — тихо спросил удэгеец.

— Трудно мне, Дисанги.

— Начальнику трудно?

«Может быть, Дисанги не так уж дорожит охотой, в которой участвует только «головой»? — подумал Семен Васильевич. — Наверное, самому себе бывает в тягость учить молодых, когда чувствуешь, что они все равно так хорошо не сделают, как ты, а у самого уже сил не осталось?»

— Трудно, Дисанги...

— Где твои товарищи?

— Сначала я решил — один справлюсь. Теперь думаю — и товарищи не помогли бы.

— Так много злых людей?

— Не много. Но они, наверно, очень хитры.

— Хитрее мафа? — Дисанги подался к инспектору, и блеклые глазки его округлились в складках кожи. — Кто же хитрее мафа в тайге?

— Хитрее медведя бывает зло. Сам говоришь: человек пришел с другой стороны хребта. Подойти к нему незаметно едва ли удастся.

— Ты со мной говоришь, Семен, как с маленьким. Я знаю тебя. И ты знаешь — обычаи не разрешают спрашивать, что случилось. Я спрошу, однако. Скажи, если можешь.

Никогда еще Семену не доводилось видеть, чтобы за считанные секунды человек мог так преобразиться. Теперь перед инспектором сидел на барсучьей шкурке совсем другой Дисанги. Согбенный годами стан выпрямился, разгладились морщины и помолодело лицо, даже глаза, старческие, слезящиеся глаза смотрели яснее и открытее. Он был очень рад хоть чем-либо помочь инспектору. Наверное, Дисанги стосковался по серьезному делу, когда нужна не только его голова, но и он сам.

— Можно ли пройти к Хребтовой скрытно? Чтоб человек, который там находится, не заметил?

— Есть запретная тропа. Старая тропа. По ней давно не ходят.

— Разве племена Кялундзюга или Кимонко не живут в тех же местах, не охотятся там же?

— Живут, где жили. Охотятся, где охотились. Раньше куда пойдешь из тайги? Городов не было. Потом лесной человек стал учиться, узнал о большом мире. Если лесные боги не могли объяснить большого мира... Боги-игрушки. Я слышал, их поставили около музея. Прошное надо любить сильно, чтобы никогда туда не возвращаться.

— Странно ты говоришь, Дисанги...

— Люди хитрят, Семен. Они хотят прыгнуть во вчера с сегодняшней головой, — по-детски рассмеялся старик. — И в завтра тоже.

— Скажи, Дисанги... — Семен произвольно опустил глаза. — Ты знаешь эту тропу, идущую по болотистой долине?

— Ты мне верь — знаю. Шаманы запретили ходить по ней еще моему отцу. Это тропа хунхузов.

— Разбойников? Они подкарауливали таежных людей на выходе из самых дальних дебрей, убивали, захватывали добычу?

— Ты хотел еще спросить... Откуда я знаю про тропу. Когда-то я шаманил... Анана-анана...

— Мало ли что было давным-давно, Дисанги...

— Да... Теперь лесные люди вышли из тайги. Не нужны им лесные боги. Предания остались: все живое вокруг — и травы, и деревья, только они не бегают.

— Да, я знаю. Кедр, пихта, лиственница, ильм — каждое дерево выбирает место на всю жизнь. Ошибся — умер. Земля их пища. Они не растут где попало. — Семен был терпелив и не спешил обратиться к Дисанги с просьбой хотя бы рассказать о тропе.

— Знаешь, — закивал Дисанги, глядя, как инспектор мнет в пальцах веточку, мнет сосредоточенно, стараясь сохранить на лице спокойствие.

— Слышал, конечно... Растительные сообщества, их приуроченность к почвам... — глядя в костер, проговорил Семен.

— Про Хребтовую кто-то старый-старый вспомнил.

Сам пришел, другого прислал? Но старый. Как я. Он знает, хорошо знает: на Хребтовой старые солонцы. Много зверя. Ты, Семен, хочешь сказать: «Пойдем со мной, Дисанги!»

— Ты, право, шаман! Наперед угадываешь, — повеселел инспектор.

— У тебя лицо, у меня глаза. Редкий человек, дурной человек — немое лицо. Лицо все говорит, все скажет. Доброму прятаться — зачем? — Минута душевного подъема у старика прошла. Он снова ссутулился, померк взгляд. — Добрый, он — солнце. Его тепло и сквозь тучи греет.

— Не добрый я, Дисанги, — сказал старший лейтенант. — Злой. Ух, какой злой.

— Знаю. Потому что добрый. Солнце тоже злое. Ух, какое злое! Не знаешь?

Семен от души расхохотался, отвалился на спину:

— Побойся лесных богов, Дисанги! С кем меня сравниваешь?

Удэгеец поднялся с барсучьей шкурки и совсем старчески прошамкал:

— Про добро говорю. Не про тебя. Фу, глупый.

— Ну вот! — Семен сел, сконфузился. — Отругал.

— Не ругал. Думал — сказал, — Дисанги взял чайник. — Ругал — нарочно говорил, агей.

— Прости, агей, — Семен так же назвал Дисанги братом. — Не всегда двоим, говорящим по-русски, в пору понять друг друга.

— Эле... Эле...

— Хватит так хватит, Дисанги. А за водой схожу я. Ладно?

— Иди, иди, — сказал Дисанги, отдавая чайник.

Старик поправил барсучью непромокаемую шкурку и снова уселся. Глядя на прихотливые извивы дыма, забормотал: «Ты, Семен, злой к злу, значит, добрый. Настоящие злые любят зло. Для них оно — добро. А ты, Семен? — Удэгеец посмотрел на инспектора, отошедшего уже далеко, и продолжал: — Ты месяц мерз вон на том болоте, ворочал камень, работал, как медведь, устраивая берлогу. Почему? Со злости. К кому? К лесничему, злому человеку. Он наврал на Федора. Потом от жадности погиб. Боялся, что ты, Семен, соболей найдешь... Надо с тобой идти, Семен. Надо идти,

надо очень осторожно идти к Хребтовой. Хитрее тигра быть. Там, однако, человек, злее лесничего».

А Семен, насвистывая какую-то свою мелодию, шел, помахивая чайником, к ручью. Вода прозрачной полоской скатывалась с одного камня на другой. Каскад поблескивал на солнце и звучал сильнее и звонче, чем шелестели под накатами ветра мягкие листья орешника.

Подставив ладонь, Семен вдоволь напился ледяной хрустальной воды, набрал в чайник и отправился обратно к табору. Семен невольно залюбовался лиственничным бором, полным яркого света. И впервые с удивлением для себя заметил, что, когда нет ни тумана, ни дымки, свет в тайге не врывается в чащу снопами, а льется как бы отовсюду, сияет на подлеске, будто именно там он и возник. Открытие чего-то нового для себя происходило всякий раз, когда он уходил в однообразно зеленые дебри, какой выглядела тайга из окна дома в поселке. Семен словно драгоценность берег подобные прозрения и, вернувшись, рассказывал о них Стеше. Жена удивлялась и радовалась вместе с ним, но по-прежнему, по-сибирски называла тайгу сердитым словом «урман» и, будучи наполовину горожанкой, относилась к ней, словно к чему-то дальнему, куда надо долго добираться, а у нее времени не хватало. Семен и сам себе не хотел признаться, что его жена, учительница математики, охотно интересовалась природой, однако не любила ее. Вернее, обожала тайгу, как море — с берега.

На ходу огляделся и опять, как и до неожиданной встречи с Дисанги, увидел вдалеке злополучное болото, где на свой страх и риск целый месяц они промучились с Федором. Затея, на которую пошел тогда участковый инспектор, не встретила одобрения районного начальства. Еще бы! И сейчас попытка добыть труп и ружье из непромерзающей даже зимой топи кое-кому покажется смешной, если не безумной. А ведь ни Федор, ни он не знали глубины заболоченного водоема. И все-таки решились.

Они с Федором разбили табор на окраине болота около поваленной Зимогорозым лиственницы в начале декабря, когда холода установились прочно. Красный столбик в термометре не осиливал отметки минус двадцать пять. И все же лед над трясинной будто дышал,

местами вспучивался, трескался, и по снегу растекались рыжие дымно-парящие потоки. Скованная ледовым панцирем теплая вода не желала сдаваться и рвала оковы.

Они уточнили место, где утонул лесничий, и очертили трехметровый круг, в центре которого поставили треногу из бревен и укрепили ворот. Целых два дня они пилили сухостой для большого костра на берегу болота. По скромным подсчетам, дров хватило бы на две зимы для сельского клуба.

Федор смастерил длинные и прочные сани. В распадке они выбрали округлый камень, весом центнера в два. Семен предлагал взять побольше, но Зимогоров воспротивился:

— Его ж нам опускать да выволакивать придется. Камушек и так велик. Вы поймите, Семен Васильевич, работка-то с глыбушкой у нас с вами ювелирная предстоит.

— Пока, Федор Фаддеевич, я ничего толком не понимаю. Попробуем — увидим.

— Увидите!

С трудом они привезли камень к берегу замерзшей топи. Запалили большой костер. Когда он хорошо разгорелся, закатали в огонь камень и полдня ждали, пока нагреется. Потом жердями-вагами, используя их, как рычаги, переложили раскаленный камень на сани и отволокли их к отмеченному кругу. Там подвесили его на петли из стального троса.

Глыба дышала сухим жаром. Федор принялся водить ее по кругу. Камень шипел, из-под него вырывались клубы перегретого пара. Смешавшись с морозным воздухом, пар, попадая в гортань и легкие, драл их, что наждак. Сначала они терпели, но потом приступы кашля доводили до удушья то одного, то другого. Особенно когда протаяли первые сантиметры болотного льда со вмержшей в него травой. Растения сгорали, соприкасаясь с раскаленной глыбой, и дух перехватывало от такого «воскурения». Едкий дым, пар, прелый болотный газ доводили до одури, стоило проработать в этом пекле несколько минут.

Когда камень остыл, его переложили на сани, а Федор вычерпал воду, скопившуюся во вмятине.

В первый день они протаяли круг сантиметров на десять.

— Хватит, — сказал Федор.
— Почему? — спросил Семен, бодрясь.
— Лед-то был под снегом. Наст — он вроде одеяла. Не давал топи промерзнуть глубоко.
— Ну?.. — допытывался Семен.
— Пропорем камнем лед — вода в котлованчик хлынет, и вся работа насмарку. Начинать все снова, — то и дело перхая, ответил Федор. — Отдохнешь — поймешь.
— Говори... — Семен попробовал закурить, но табачный дым железным скребком продрал гортань, удушье сковало грудь. Припав на бок у костра, Семен зашелся в кашле и едва не четверть часа бился в судорогах.

Кое-как отдышавшись, он отшвырнул в огонь пачку с сигаретами и, утирая слезы, хватая широко открытым ртом жгущий горло морозный воздух, выдавил:

— Про-гу-лочка!..
— Сам напросился.
— А-т... ты... не ерепенься.
— Мне что? Не мне доказательства нужны. Я-то знаю — не убивал.
— Брось болтать!
— Чайку давай прими. Полегчает. Дальше — хуже будет.

— Почему?
— Пока поверху идем. В день сантиметров по двадцать углубляться в болото будем. За ночь мороз прохватит стенки, дно. Тогда опять камень горячий опустим. Под ним лед снова подтает. Вроде колодца яма станет. Вот уж оттуда пар пойдет фуговать, что из вулкана.

— На какую же глубину нам яму протаивать надо?
— Метра на два, на три. Говорил я тебе. Там и должен быть труп лесничего.

— Мы его и подпалим!
— Нет. Лед прозрачный. Как увидим тело, так и экспертов и следователя звать можно.

— Следователя сначала, — сказал Семен.
— Это ваше дело.
— А не повредим тело-то?
— Не... Обтаять по бокам можно.
— Как ты, Федор Фаддеич, до этого додумался?
— Не я вовсе. Старатели. Они так зимой в речках золотой песок доставали для промывки. Удобнее, чем

летом, получалось. И мокнуть не надо. Мороз стенки держит куда прочнее крепи в шурфе. Вот я и подумал... Коль дело до доказательств моей невиновности дошло, — а словам кто поверит? — то лесничего из топи зимой даже сподручнее достать...

Месяца каторжного труда стоило вытаять тело лесничего из болота. Но честное имя Зимогорова было спасено...

Вспомнив об этом страшном месяце, инспектор подумал: «А мне та работа на пользу пошла — курить бросил...»

Он пошел в сторону табора Дисанги.

Старик сидел у костра так же неподвижно, как и перед уходом Семена, будто ни разу и не шелохнулся.

— Ну вот. Скоро и чайком побалуемся, — сказал Семен и тут же спросил: — Когда к Хребтовой пойдем, Дисанги?

— Кабана возьмем и пойдем, однако. Я присмотрел. Много их тут, секачей, в дубняке. Неподалеку. Один матерый. Хватит ему гулять. Молодым простору больше будет.

— Вдвоем сподручнее... — Семен знал свирепый нрав этого мясного зверя, как говаривали добытчики, сам хаживал за кабанами, но вместе со зверовщиками, а не с таежными жителями. Раз подвернулся случай, почему бы и не поохотиться вместе с Дисанги?

— Сподручнее, — согласился удэгеец. — Три дня и еще день ходил. Хорошо знаю, где он. Думают, стар Дисанги, совсем никуда не годен.

— Я не в помощники к тебе прошусь, Дисанги. Посмотреть хочу, поучиться.

— Стар Дисанги...

Семену не хотелось ни спорить, ни разубеждать старика в вещи очевидной и понятной. Шухов подвесил над огнем чайник и тут заметил, что в костре лежали две грибовидные березовые чаги — нароста. Они старательно тлели, испуская много дыма. Не спрашивая ни о чем Дисанги, Семен понял и взял на заметку, что и ему стоит так же поступать, когда придется зажигать дымокур.

Не разговаривая, они попили очень крепкого, вяжущего во рту чая. После довольно долгой ходьбы Семен почувствовал ставшую для него привычной легкость в

движениях и приятное ощущение свежести. Дисанги тоже приободрился и повеселел.

— Пора, — сказал старик, и они тронулись в путь.

Плащ и котомку Семен оставил в лагере, ремень карабина набросил на плечо. Рядом со стариком Шухов выглядел необычайно рослым, статным.

Скоро они вышли из лиственничного бора, миновали распадок, заросший буйной бледно-лиловой леспедией.

Семен попробовал сосредоточиться на предстоящей охоте, но не вышло. Ведь он толком не знал, как Дисанги будет скрадывать зверя, а спрашивать, как ему думалось, было поздно. Поэтому он просто шел за Дисанги, бесшумно и неторопливо.

Они вошли в дубраву, ярко освещенную отраженным от листвы светом. Казалось, что здесь светлее, чем на открытом месте. Мелькание бликов мешало сосредоточиться, отвлекало.

Дисанги шел впереди, спокойно держа старую берданку в опущенной руке. Семен справедливо решил, что беспокоиться рано, до выслеженного стариком кабана еще далеко. Ветер дул им в лицо, и то задумывался в дремотном оцепенении, то, словно спохватившись, шумно пробегал в вершинах порывами, достигавшими даже земли.

Терпко и пряно пахли молодая листва и старая дубовая подстилка, мягко пружинившая под ногами.

Во многих местах, особенно под раскидистыми деревьями, виднелись глубокие и мелкие ямы, вырытые кабанами совсем недавно, по-видимому, в поисках прошлогодних желудей.

Дисанги ускорил шаг, но Семен не стал торопиться. Удэеец ни о чем не предупредил его и скоро ушел довольно далеко вперед, ко взгорку.

Семен остановился посреди широкой поляны, у совсем свежей ямы, взрытой, похоже, могучим секачом час-полтора назад.

Тут раздался выстрел. Вскинув взгляд, Семен не сразу увидел в играющем мерцании светотени фигуру Дисанги. Старик стоял на самом увале около ствола могучего дуба. Удэеец мог видеть зверя, бывшего по ту сторону увала, Семен — нет. Он различил только, как Дисанги вдруг вскинул руки и прокричал:

— Беги!

Но было уже поздно.

Метрах в пятидесяти, на увале, возник матерый секач. Семену, вероятно, только показалось, что большая, в полчеловечьего роста, туша вепря застыла на миг. Просто потребовалась какая-то доля секунды, чтоб взгляд Семена мог охватить зверя целиком, увидеть двухвершковые, загнутые, очень белые клыки по обеим сторонам от темного глянцевого пяточка; крохотные, сверкнувшие малиновой яростью глазки; прижатые к голове уши и горб вздыбленной шерсти за ними. А вепрь, всхрапывая, уже неся на Семена, стоявшего посреди поляны. Десятипудовая масса кабана обрела рушащую силу тарана.

Из развороченного пулей и черного от грязи бока вывалились сизые кишки. Они волочились по земле, и зверь наступал на них задними копытами, выволакивая из нутра. Клыки, вздыбившаяся бурая щетина на загривке искрились в ослепительном свете дня.

Таранный бег раненого взбешенного вепря был неотвратим, дик и жуток. Зверь стремглав летел прямо на Семена.

«Стой! — приказал себе Семен. — Стой! И — отскочи...»

Никакая сила не заставит секача ни задержаться, ни свернуть. Это инспектор знал. И никто не мог спасти Семена, только он сам, если окажется достаточно расчетливым, быстрым.

IV

Егерь Зимогоров скинул в сенцах котомку, шинель и олочи, быстрым шагом прошел в горницу. Прибранная и наполненная закатным светом, она казалась удивительно просторной. Став около деревянной кровати, Федор засмотрелся на своего младшенького. Мишутка заметно изменился за две недели. Побелело и стало осмысленней его личико. Малыш двигал, просыпаясь, вскинутыми бровками и шевелил губешками, что придавало его мордашке глубокомысленное выражение. Мишутка открыл глаза и, как почудилось Федору, с интересом уставился на него, обросшего двухнедельной щетиной, нечесаного, пахнущего болотом и кострами.

Выпростав из пеленки хрупкие руки, Мишутка задвигал ими и вдруг улыбнулся.

— То-то, я гляжу, Жучка сама не своя, — послышался за спиной голос Марьи. — Хозяин явился.

Федор для убедительности ткнув пальцем в кровать, сказал жене вместо приветствия:

— Он улыбнулся... мне.

— Полно...

— Я тебе говорю.

Марья стала рядом.

Малыш бессмысленно водил глазенками. Потом, уловив облик матери, суетливо зашевелился и расцвел улыбкой. Марья всплеснула руками, обхватила Федора за плечи:

— Ты посмотри-ка! — но тут же ревниво заметила: — Иди, иди от кровати. Еще налюбуйешься. Из тайги — и к постельке. В холодной поешь.

— А Сергунька где? — послушно отходя от ребенка, спросил Федор про старшего, приехавшего на каникулы из интерната.

— За полозами охотится. Вон трофеи на плетне висят. Тебе похвастаться хочет.

— Не нравится мне это, — беспокойно пробормотал Федор.

— Парню скоро девять, а по тебе он в бирюльки должен играть, — возразила Марья Ивановна.

Потом она сидела напротив мужа за столом и смотрела, как Федор, соскучившийся по домашним харчам, уписывал парующие кислые щи с молодой черемшой. Окно в холодной было небольшим, и, хотя солнце еще не зашло, Марья зажгла лампу. Редкая мошкара искрилась в ее медовом свете.

И старшего сына Марья Ивановна к отцу не допустила, отложив расспросы и рассказы на завтра. Июнь — время таежного энцефалитного клеща, а жена егеря боялась этой болезни хуже любого зверя. А чтоб мальчонка не шастал зря, послала Сергуньку последить за каменкой в бане.

— Да мяты в кипяток кинь, — крикнула мать вслед сыну.

— Вот спасибо, — отодвигая опустевшую тарелку, сказал Федор. И не ясно было — то ли за ужин он благодарил, то ли за заботу о бане.

— Тут без тебя, Федя, дней десять назад Шапова-

лов приходил. Костры на Хребтовой он заметил. Волновался, что чужак там, и обещал Семену Васильевичу доложить. Что дальше было — не знаю.

— Нет там чужака, — твердо сказал Федор. — Напутал Шаповалов. Костры... Один костер, поди... Так там поблизости Антошка Комолов. Если Семен Васильевич туда ушел, вернуться должен. Мимо кордона-то не прошел бы. Должен инспектор вернуться, коли ходил. По оголовью сопки сейчас по сорок километров за светлое время пройти можно. Особо налегке.

— Слышь, получается у тебя, Феденька... — сказала Мария Ивановна, разглаживая ладонями скатерть на столе. — Хоть кривая правда, да моя... Не заходил к нам Семен Васильевич — говорю тебе.

— Эх, Маняша, прекрасно знаешь — пойду поутру в Горное и все узнаю...

— Я не про то... — настойчиво продолжала Мария Ивановна.

— Шаповалов у нас без году неделя. Мог он напутать? Мог. Откуда на Хребтовой чужаку взяться? С неба, что ли?

— Бывает...

Федор снова не дослушал жену:

— Маняша, подозрения — не соль, чего их впрок держать. Узнаю все завтра...

А потом, уже по полуночи, сидел он на кухне у самовара — чистый, томный, бритый и благоухающий, да гонял чай. Напился до отвала. Затем задул лампу. Задумался: то ли спать идти, то ли выйти покурить при луне?

Вдруг за окном послышался быстро приближающийся конский топот. Смолк поблизости. Пробежал кто-то по двору.

«Кого это носит в столь поздний час? — подумал Федор, отирая полотенцем пот со лба. — Надо выйти... Посмотреть...»

В переплет закрытого от мошки окна, подле которого сидел егерь, заколотили с маху. По крайней мере, ему показалось, будто с маху. Вздвогнув от неожиданности и чертыхнувшись, Федор распахнул створки и увидел жену инспектора Шухова, учительницу.

— Степанида... Кондратьевна? — удивленно, с расстановкой проговорил Федор.

Та только закивала в ответ.

— Случилось что? — высунулся в окно егерь. И тотчас понял всю неуместность вопроса, заданного от растерянности. — В дом, в дом иди! — почти закричал Федор. — Я вот мигом лампу зажгу... — и он по привычке курильщика принялся похлопывать себя по карманам в поисках спичек.

Мария тоже проснулась, поднялась.

— Да вот, на загнетке они... — сказала жена, проходя мимо кухни в сенцы, чтоб встретить нежданную гостью. Федор задел ногой за табурет, опрокинул его. Неловкость еще больше разволновала егеря. А перед глазами во тьме еще не померкло осунувшееся лицо Стеша, шалый взгляд, сбившийся на затылок платок... Кивки вместо ответа, когда человек не в состоянии вымолвить ни слова.

В сенях слышались приглушенные голоса, что-то загремело некстати, а Федор все не мог нащарить коробок.

«Да успокойся ты наконец!» — сказал он сам себе. И спички будто вскочили в ладонь.

— Давно бы так, — буркнул он и засветил керосиновую лампу.

Женщины уже стояли на кухне, и Мария поддерживала Стешу.

— Ты садись, садись, — придвинув табурет, заторопился Федор.

А Степанида вдруг заплакала, прижала к лицу концы платка. Была она маленькой и хрупкой, а теперь выглядела просто девчонкой рядом со статной Марией.

Справившись с волнением, егерь сел на лавку и неторопливо закурил:

— Ты, Стеша, погоди реветь. Расскажи толком, что случилось.

— Ох, прости, Федор!

— Чего это ты поглупела вдруг? — попытался приободрить гостью егерь.

— Погоди ты чуток, — вступилась Мария. — Дай ей дух перевести. На брусничной водички, полегчает.

У окна показалась голова взмыленной лошади, вязкая пена прикипела к ее губам. Лошадь скосила глаза в комнату, выкатив белые новолунья белков.

— Ты Ласку-то не загнала, Степанида Кондратьевна? — поинтересовался Зимогоров, чтоб хоть чуток от-

влечь жену Семена Васильевича от непонятной пока ему тревоги.

— Ну чего ты с лошадьёу пристал? — рассердилась Мария. — Видишь, не в себе человек.

— О деле, Стеша, о деле давай. Не тyani... Я ведь со светом к вам собрался.

— Семен пропал, — и Стеша опять заплакала. — Скоро неделя, как срок ему возвратиться, а нет его.

— Э-э, — успокаивающе протянула Мария. — Мне тогда уж пора свои косы повытаскать. Мой и по три недели пропадал.

— Не бывало такого с Семеном, сами знаете, — Степанида упрямо стукнула кулаком по колену. — Часу меня ждать не заставлял. Раньше уговора случалось ему приходить.

— Точно, — подтвердил Зимогоров. — Про то я знаю. Да и дел у него в тайге нет особых, чтоб пропасть на неделю. Шалить в округе давно перестали. Я про панты говорю. А если бы и поймали кого, то скорее бы вернулся. Чего ему с таким человеком в тайге обрeтаться?

— И я про то же! — живо воскликнула Стеша.

— Куда пошел Семен?

— Кроки его участка я привезла, с пометками. Он для меня рисовал.

— Чего же молчишь? С этого бы и начинала, — нахмурился Зимогоров.

— Может, ничего и не случилось? — немного странным заискивающим тоном спросила Степанида. Измучившись ожиданием и одиночеством, жена инспектора, едва стемнело, села на лошадь и поехала к егерю, за кадычному другу Семена, чтобы хоть в разговорах развеять сомнения. Не могла она быть дома одна. Невмoгoту стало перебирать в уме множество всяких трагических случаев, могущих произойти в тайге. День ото дня, час от часу напрасного ожидания мысли о возможной беде становилась неотступнее, беспокойство росло. Едва остановила она себя, чтобы не позвонить в район, не поднять тревогу...

— Может, все-таки не случилось ничего? А? — повторила Стеша. — Как ты думаешь? Зря я себя мучаю? Шаповалов от меня прячется. Надоела я ему распросами. А он как в рот воды набрал.

Федор промолчал и не поднял глаз в ответ на во-

прошающий взгляд жены друга. Он вроде бы даже плечами пожал, разглядывая план.

— Там, Федор Фаддеевич, все отмечено: число выхода, маршрут, где и когда он быть должен.

— Ага, нашел...

Разобравшись в переплетении линий, начерченных разноцветными карандашами, Зимогоров смог теперь проследить весь путь, намеченный Семеном Васильевичем. Но главное тут состояло в другом. Не в характере инспектора было вот так с бухты-барахты опаздывать с возвращением. Сама по себе задержка могла свидетельствовать о происшествии из ряда вон выходящем. Необычен был и последний маршрут инспектора: в самую глубинку заказника. Этого егерь не ожидал. Много непонятного, тревожного почувствовал теперь Федор в сообщении Шаповалова о кострах. Особо охраняемые уголья вытянулись в длину, к предгорьям, куда ни егерский, ни тем более милицкий участки не доходили. Но наблюдать за дальними отрогами было необходимо. Именно там обитало ценное зверье, выбитое близ селений.

— Что же делать-то будем, Федор? — напомнила о себе Степанида Кондратьевна.

— Идти надо.

— Я с вами.

— Не сердись, обуза мне ни к чему.

— Это я-то обуза? Да я все маршруты как свои пять пальцев знаю.

— На плане... И не спорь, — ревниво оборвал Федор. — Не допускаю я, что стряслось с Семеном Васильевичем нехорошее. И не путайся у меня под ногами. Тайга — не класс. Не командуй.

Федор действительно не верил, будто опытный таежник Шухов поступил опрометчиво и попался на какую-либо уловку пришлых браконьеров. Коли с местными столкнулся, те не станут греха на душу брать: покорно пойдут за инспектором, чтоб штрафом отделаться. А вот пришлые — те люди жестокие. Не по характеру, не по склонности, не по тому, что скоро на расправу рука. Они рассчитывают уйти. Не здесь их дом! Не знают они, как долго тайга хранит следы пришельцев. Не все улики смывают дожди и разбрасывает ветер. Да и ведет себя чужак в глубинке неосторожно, неосмотрительно. Кажется ему, будто затеряется он в бескрай-

нем просторе дикой тайги. Получается же как раз наоборот.

Выслушав резкий отказ Зимогорова, Степанида поджала губы и некоторое время сидела молча, а потом разрыдалась.

— Все равно пойду! Одна пойду!

— Куда? — вздохнул Федор.

— За тобой.

В дом вошла Мария и сердито сказала:

— Чего бабу дразнишь? Не веришь, будто стряслось что с Семеном Васильевичем, так объясни — почему?

При виде женских слез Федор Фаддеевич терял душевное равновесие. Они, слезы эти, вызывали в нем досаду и раздражение до зуда в спине. Поежившись, словно от холода, егерь проговорил досадливо:

— Что объяснять? Что! Вот ведь по карте ей показывал: обойти эти отметины двух недель не хватит, не то что одной! Что же тут еще объяснять? А я в тайгу по своим делам пойду.

Мария обняла Стешу за плечи, склонилась к ней:

— Ты уж прости моего... Не приучен к слезам. Не видывал их в доме.

— Пусть посмотрит! Может, сердце его лохматое шевельнется, — бормотала Стеша сквозь рыдания, уткнувшись в концы шали. — Друг его, верно, погиб, а он сидит ласы точит.

При одной мысли, что он все-таки столкнется с убийством, а подле будет жена Семена Васильевича, лоб егеря покрылся испариной. Это было выше его сил. Ведь Степанида непременно сочтет свое бабье горе больше его мужской беды: не найти ему в жизни такого друга, как Шухов. Это точно.

Обернувшись к Степаниде, Федор отрезал:

— Не возьму! И не проси!

— Чует мое сердце, погиб Семен! — сквозь плач выговаривала Степанида. — А ты чурбан!

— Это ни к чему... — нахмурился Федор. — Помощи в тайге от тебя никакой, а мороки — воз.

Стеша утерла слезы, вид ее стал решительный, будто и не плакала она минуту назад. Крупные карие глаза глянули на егеря зло:

— Да что я с тобой торгуюсь? Дорога, что ль, заказана? Ты сам по себе, я сама по себе.

Такого поворота Зимогоров не ожидал и сгоряча чуть на попятную не пошел, да жена выручила:

— Слышь, Стеша, неделя опоздания для таежника — срок малый. Глядишь, напорол ты горячку, а дело по-иному обернется. Федор один пойдет, ты ступай обратно, к дому. Может, припозднился Семен Васильевич. Тебя, поди, уже ждет.

Человеком Федор Фаддеевич был отходчивым, да и в речах жены определенно имелся свой резон. Поэтому настаивать на своем егерь не стал.

— Пусть Стеша уезжает, а я с первым светом тронусь, — но, глянув на темень за окном, егерь махнул рукой. — Совсем вы меня запутали! Куда ж ей на ночь глядя скакать?

Мария увела притихшую Стешу в комнаты, а Федор остался сидеть у кухонного стола, склонясь над картой. Что случилось с Семеном? Несчастный случай? Зверье в эту пору спокойное, занимается потомством, на человека не бросится. Да и смешно, если бы инспектор не сумел разойтись по-хорошему даже с медведем...

Но и поутру Стеша была непреклонна. И Мария теперь стояла за нее горой. Федору пришлось уступить.

— Не будь ты женой Семена Васильевича... — тут егерь замотал головой так, будто стряхивал осиный рой, и, не договорив фразы, буркнул: — Вот те штаны, куртка, олочи. Великовато, но сойдет.

Пока Стеша переодевалась в другой комнате, Мария шепнула Федору, легонько толкнув его в бок:

— Ты с ней поласковее. Слышь? Дите у Семена будет.

— От те на! На кой же она...

Мария зажала мужу рот:

— Я уж думала... Останется — хуже. Побереги.

V

Семен словно окаменел. Он не сводил глаз с отогнутых и отточенных двухвершковых клыков вепря, покрытых ржавой пеной сукровицы.

«Не шелохнись, — сказал Семен себе. — Замри и стой! И успеешь отскочить».

Мышцы ног Семена ныли от напряжения, но он знал, что они будут послушны, если он прикажет им во-

время. И тут Семен подошвами ощутил дробное и сильное сотрясение земли. Она вздрагивала под тяжестью кабана, рвущегося к нему, чтоб рассечь, затоптать.

Теперь Семен видел лишь один клык, вылезший из розовой вывороченной мякоти десен. Он не видел ни крови, хлеставшей из разодранного брюха, ни ушек, выдвинутых вперед, ни бурой шерсти на могучем загривке, а лишь основание желтого клыка, вылезшего из десны. И в тот момент, когда Шухову надо было наклонить голову, чтобы увидеть этот жуткий клык, Семен резко, до хруста в суставах, двинулся вбок, в сторону, пропустив нож клыка мимо своего бедра. Его лишь чуть задел грязный бок огромного зверя, скользнувший по колену.

Семен оказался вновь повернутым к кабану. Он видел узкий зад вепря и его монументальный торс, но лишь сейчас ощутил, как испарина охладила лоб.

Секач не мог тут же затормозить, потеряв свою жертву из вида. Он промчался еще метров двадцать и только тогда попытался развернуться. Но это ему не удалось. Сила инерции, которую обрела туша, завалила секача на бок. Ослабевшие ноги зверя мелко дрожали.

Семен опустил на землю, покрутил головой, словно отгоняя видение. А потом почему-то смачно утер нос тыльной стороной ладони и крикнул.

Отрешенный голос Дисанги прозвучал рядом:

— Никогда не ходи на охоту со стариками. Они думают — другие должны знать столько, сколько они.

— Разве ты виноват? — искренне удивился инспектор. — Я не успел сорвать карабин с плеча.

— Сорви его, ты не уследил бы за кабаном.

— Неужели мы так тихо подошли? И так близко?

— Кабан валялся у родничка в грязи и шмаре. Два дня его видел там. Я говорил тебе — выследил.

— Я не понял. Наверное...

— Ай-ай-яй!.. Старик — не охотник. Попал на ладонь ниже сердца. Прощай, охота.

Семен понимал переживания Дисанги. Старик был так уверен в себе, что исключал промах.

— Не расстраивайся, Дисанги. Все обошлось.

— На целую ладонь! — причитал старик. — Прощай, охота...

— Не надо так переживать, Дисанги. Лучше осве-
жем этого мамонта.

— Мамонт не такой. Мне внук картинку показывал.
Мамонт совсем не такой.

— Конечно, не такой, Дисанги. А я не заметил
твоего знака, Дисанги. В яму, разрытую кабаном,
смотрел.

— Старик должен знать и это, — сокрушенно вы-
молвил удэгеец.

Они достали ножи и начали потрошить тушу.
Но шкуру не снимали, потому что зверя еще надо бы-
ло на волокуше дотащить до табора.

— Я слышал, что люди поступают, как ты, — ска-
зал Дисанги, — но никогда не видел. Отскочил — и
зверь мимо.

— Ничего другого не оставалось...

— Жалко, ты не видел, как я подал тебе знак.

Не боясь показаться излишне сентиментальным, Се-
мен выломал из челюсти кабана левый клык, на кото-
рый он глядел, когда вепрь несли на него.

Потом разговаривать было некогда. Волокуша с тя-
желой тушей зверя умотала и Семена, а Дисанги просто
извелся. Но не отпускал свою жердь и старался не от-
ставать от инспектора.

В таборе их встретили молодые охотники. Ночь бы-
ла не ходовой. Они вернулись без пантов, раздосадо-
ванные. Разговор у костра не клеился. Дисанги сказал,
мол, уйдет с инспектором. Но и это известие не произ-
вело на молодых особого впечатления, что очень огор-
чило старика. Он рано лег спать, подстелив под бок
барсучью шкуру. Не поднялся проводить молодых на
охоту, не высказал ни пожеланий, ни совета. Выстре-
лов ночью ни Семен, ни Дисанги не слышали.

— Я старый и плохой охотник, — вздохнул удэгеец,
когда они спозаранку покидали табор.

Никак не мог понять Семен, почему старик настоль-
ко тяжело воспринимает промах на охоте и неудачу мо-
лодых. Он будто весь иссохся, стал еще меньше, упал
духом.

Дисанги молча шагал весь день и еще целый день.
Только к вечеру, когда они увидели с вершины одной
из сопки склоны Хребтовой, Дисанги сказал:

— Смотри, нельзя тут пройти, чтоб тебя не замети-
ли. Туда по оголовью, по лысым местам...

— Вижу, Дисанги.

Далекая сопка, покрытая чернолесьем, ее голая вершина походили на тушу древнего зверя с вытертой на хребте шерстью. Семен достал чертеж, который передал ему Ефрем Шаповалов, и понял, что тот тоже был здесь или совсем рядом. Нанесенные им очертания сопки совпадали. Но в тех точках, где на плане Шаповалова значились отметки, костров не было видно. Увалы Хребтовой выглядели дикими. И только в стороне виднелась струйка дыма. То был табор Антона Комолова.

— День-два, и я узнаю все точно, — сказал Семен и обернулся к Дисанги. Но того не оказалось рядом. Старик лежал на барсучьей шкурке у комля могучего флагового кедра, верхушка которого была расщеплена молнией. Удэгеец осунулся, закрытые глаза ввалились, а сквозь дряблую кожу как бы проступили очертания черепа.

— Загнал я тебя, Дисанги... — присев около старика, виновато пробормотал инспектор.

— Я старый и плохой охотник.

— Ну, конечно, не молодой человек.

— Человек — охотник. Нет охотника — нет человека.

— Зачем так, Дисанги? Колхоз даст тебе пенсию. Ты честно заработал ее.

— Зачем волочить свою жизнь, как тот кабан кишки, — очень тихо и просто сказал Дисанги, не отрывая глаз.

— Будет костер, будет чай, и все будет отлично.

— Нельзя костер жечь. Он увидит. Насторожится.

— Кто он? — несколько недоуменно спросил Семен, занятый мыслями о Дисанги.

— Тот, кто жег костры.

— Ладно. Я уйду на северный склон сопки. Оттуда никто не увидит костра.

— Хитрее тигра надо быть. Нельзя нигде костер жечь, — продолжал Дисанги, не поднимая век.

— Как же ты, Дисанги, не рассчитал своих сил?

— Они кончились — и все. Нет охотника — нет человека, — тихо проговорил удэгеец.

— Так нельзя, Дисанги, — Семен почему-то тоже перешел на шепот. — Отдохни. Что-нибудь придумаем.

— Отдохну. Отдохну... Не жги костер. Маленький-маленький дым увидит. Насторожится. Вдруг уйдет.

— Ты отдыхай. Набирайся сил. Загнал я тебя. Отлежишься — все пройдет. Так и решим. Ладно, Дисанги?

— Насторожится. Вдруг уйдет. Кто закроет дорогу на перевал? — Дисанги с трудом поднял веки. — На ту сторону Хребтовой? Туда ему путь открыт. А я не смогу.

«Дисанги считает так же, как я, — подумал Семен. — А об этом мы не говорили. Значит, прав и я и Дисанги. Если мы завтра преодолеем болото в долине, я могу выйти к Комолову. Вот его и пошлю на перевал. Он будет наблюдать за тропой, а я — следить за браконьером. Теперь можно не сомневаться, он там. Не ушел. Нет, уйти он не должен: уже дней через десять панты станут годны лишь на вешалку. Он будет там до конца. А как же быть с Дисанги?»

И, задавшись вопросом, Шухов не мог не пожалеть, что все так неладно складывается.

— Ты думаешь обо мне... — пробормотал Дисанги. — Не думай. Ты не торопись. Долго следи. Узнай, где он панты хранит. — Старик помолчал. Потом протянул руку и тронул ладонь Семена. — А ты все жди... Я только слышал... увертываются от кабаньих клыков, но никогда не видел... И молодым охотникам я не могу больше помочь. Мешал я им? Совет — много меньше, чем первый шаг дела.

— Лежи, отдыхай, Дисанги.

— Ты не разводи костер, инспектор. Не надо. Из-за меня ты все испортишь. Умирать, когда умер для охоты, совсем просто. Закрою глаза, усну и не проснусь. Ты не думай обо мне, инспектор.

— Я не могу не думать о тебе, Дисанги. Понимаешь, не могу!

— Ты потом возьми барсучью шкурку. Тебе придется спать на земле. Клади ее под грудь — не простудишься. И не зажигай костра. Иначе мне будет очень плохо. Я буду знать, что не помог тебе и все испортил.

— Молчи, отдыхай, Дисанги.

— Не надо костра, Семен.

— На той стороне склона я видел толстенную липу с огромным дуплом в комле, у корней. Разведу костерок в дупле и согрею чай. Дым рассеет кроной.

— Я знаю ту старую липу. На закате дым не унесет ветром. Он будет виден.

— Я быстро, Дисанги. А правда, что ты шаманил? —

почему-то спросил Семен, словно сейчас было очень важно знать это.

— Теперь — тоже шаманю... Хочу тебе помочь. Там может быть очень страшный человек — хунхуз. Хунхуз — страшнее тигра.

— Какие сейчас хунхузы?

— Свое время — свои хунхузы, — сказал старик.

— Ладно, ладно. Ты останешься и будешь ждать меня.

— Человек не может делать дело, какое он знает и любит... Зачем ему жизнь?

— Жизнь всегда останется самым дорогим для человека, Дисанги, — настойчиво проговорил Семен.

— Мала цена жизни рядом с делом, которое любишь.

— Это о другом, Дисанги.

— Зачем спорить, Семен?

«Да, спором тут не поможешь...» — подумал Шухов, поднялся и тихо ушел.

Когда Семен вернулся, Дисанги был в забытьи.

Почувствовав присутствие Семена, старик сел и горестно проговорил:

— Зачем ты варил чай? Я все равно не умру, пока не проведу тебя по тропе хунхузов. Мы пройдем по топи. И ты оставишь меня на той стороне, в конце тропы.

— Я оставлю тебя только в полной безопасности.

— Полной безопасности нет. На конце тропы есть балаган. Еда у меня есть, вода там есть.

— Постарайся, чтобы до моего прихода с тобой ничего не случилось, — попросил Семен так искренне и с таким простодушием, что Дисанги улыбнулся. В его печальных глазах засветился теплый огонек признания к человеку, который, как и он, Дисанги, считает: «Нет дела, нет и человека».

— Я очень, очень постараюсь... Семен.

— Мне трудно будет тебя оставить.

— Иди с легким сердцем.

После ужина инспектор закутал чайник в ватник, вынутый из котомки. Он решил не разжигать утром костра, не рисковать быть замеченным еще раз.

Крепкий до терпкости чай не позволил ему уснуть сразу. Невольно Семен попытался осознать все глубину переживаний Дисанги. Он не только впервые промахнулся, но больше того, подставил под удар другого че-

ловека. И все это усугублялось сознанием собственной его, Дисанги, вины за неудачу молодых охотников. Вышло так, что он, Дисанги, уж и советы дельные, как оказалось, давать не может. И так теперь думают о Дисанги? Он не просто бил зверя, он творил охоту. Охота, как произведение, всегда первая и последняя. Семен мог судить по Федору, который был таким же охотником. Поэтому инспектору удалось понять и Дисанги.

Удэгеец и Федор были плохие учителя. О Федоре он знал это по собственному опыту. Зимогоров не умел объяснять и раздражался, когда Семен спрашивал его заранее о намерениях, о тактике охоты.

Возможно, отношения Дисанги с молодыми охотниками потому и не сложились, что у старика не хватало сил вести обучение по принципу: «Делай, как я». Это самый сложный, пожалуй, способ передачи знаний. Он требует от ученика не только желания обучаться, но и особого склада мышления, достаточной независимости в освоении опыта, а проще — ума.

Размышления если и не совсем успокоили, то, по меньшей мере, примирили Семена Васильевича с неожиданной для него близкой потерей проводника и помощника. Оставалось позаботиться о том, чтобы Дисанги хорошо отдохнул, и завтра они перешли бы через болото по старой тропе хунхузов. Инспектор выигрывал два дня пути, если не все три, по сравнению с обходом по оголовью сопок.

С первым светом они спустились в широкую долину, которая отделяла их от Хребтовой.

Постепенно густой подлесок, переплетенный лианами лимонника и дикого винограда, окружил их плотным кольцом. Семену пришлось взять топорик, отвоевывать у чащи каждый метр пути.

Солнце поднялось высоко, и под густым пологом листвы, меж травянистых кустов и кустов, похожих на травы, сделалось душно, парно. Комарье и мошка донимали немилосердно. Пот застил и щипал глаза, капли его противно ползли по спине. Вытирая лицо, Семен видел на руках густые следы размазанной крови.

Хотелось отдохнуть, но какая-то бешеная ярость охватила инспектора. Он с остервенением врубался в заросли, не давая себе передышки, пока ослабевшие пальцы не выпустили топора. Тогда Семен хватил воз-

дух открытым ртом и долго отплеывался и откашливался от попавших в горло насекомых.

Едва отдышавшись, Семен поднял топор, чтоб с тем же упорством прорубаться и дальше, но вдруг Дисанги остановил его:

— Закраина. Шесты руби.

— Какой длины?

— Пять шагов.

Никакой закраины, начала болота, Семен не заметил. Однако они не прошли и нескольких метров, как высокие деревья отступили, открылась кочковатая марь, поросшая кустами. Под ногами зачавкала топь. Рыжая вода сначала проступала постепенно и вдруг брызгала фонтанчиками.

— Не ступай след в след, — сказал Дисанги.

— Хорошо... — сказал сквозь зубы Семен. Темный рой гнуса облепил его. Лицо, шея, руки казались ошпаренными. Инспектор попробовал было стереть налипшую корку с лица рукавом, но только размазал кровь. Мошка облепила кожу еще гуще. И хотелось просто выть, потому что в таких скопищах кровососущих не действовали никакие патентованные средства, а дегтя из березовой коры они не приготовили, и это была ошибка и недосмотр Дисанги.

Сквозь выступившие слезы Семен толком ничего не видел и всю свою волю сосредоточил на том, чтобы не потерять в высокой траве следов Дисанги, не ступать в них и не уклониться в сторону. Пытка гнусом словно парализовала мышцы, их сводила мучительная судорога, и каждый шаг стоил неимоверных усилий.

— Все... — будто издалека прозвучал голос удэгейца.

Но он продолжал идти, и инспектор шел за ним, ступая в междуследье.

— Брось шест, Семен.

Шухов не смог разжать рук сразу.

— Иди к ручью.

— Где вода? — спросил Семен.

Дисанги подошел к нему и пальцами сдернул наросты гнуса на его веках. Тогда Семен увидел веселую воду ручья, опустил на колени:

— Дисанги, сними фуражку...

Когда старик выполнил просьбу, Семен сунул руки и лицо в воду и замер от наслажденья. Он чувствовал, как

в щемящем холоде тает саднящая боль, ослабевает напряжение мышц. Если бы не тупое ощущение удушья, которое заставило его поднять лицо и вздохнуть, сам Семен не решился бы оторваться от ручья.

Потом инспектор умылся и невольно посмотрел в сторону Хребтовой. Господствующая вершина ее с белой поблескивающей макушкой была хорошо видна. Солнце заливало юго-западный склон. Вдруг Семен уловил странный яркий просверк, где-то на границе меж лесом и лысым оголовьем.

«Показалось? — спросил он себя и остановился. — Показалось, может быть... А если нет, то проблеск очень похож на сверканье линз бинокля. Что там — наблюдатель? Почему бы и нет?..»

Настроение инспектора, и без того не очень бодрое от пережитого за последние сутки, испортилось еще больше. Семен оглядел в бинокль склон Хребтовой. Но сколько он ни ждал, нового просверка стекол, отразивших солнечный свет, не было. Сопка, едва приметно подернутая синью десятикилометровой дали, была однотонно зеленой и пустынной. Так и не убедившись окончательно, привиделся ли ему мгновенный блеск, нет ли, инспектор ничего не сказал Дисанги. Тот лежал на нарах в старом охотничьем балагане из корья — приземистой, обросшей мхом избенке с плоской дерновой крышей.

«Прежде всего, — подумал Семен, — надо поинтересоваться, не был ли кто из незнакомых или нездешних промысловиков у Антона. А дальше — действовать по обстоятельствам. Я ведь не знаю, добыл ли Комолов панты. Жаль парню охоту портить... И все же надо идти к Комолову».

Согнувшись едва не пополам, хотя ростом был и не так уж высок, Шухов вошел в балаган к Дисанги. Говорить было не о чем — все обговорено, и старший лейтенант сказал:

— Так я иду, Дисанги.

— У меня все есть. Спать буду, есть буду. Тебя ждать. Иди с легким сердцем, Семен Васильевич.

— С легким, с нелегким... Надо, Дисанги...

— Надо, начальник, надо, — закивал тот, не открывая глаз.

«Совсем сломался старик... — вздохнул Семен, отправляясь к табору Комолова. — Ну, а как бы ты без

дела своего жил? Все хворобы на тебя слетели бы, словно вороны... Вороны, вороны... Интересно.

Конечно, не станет браконьер возиться с тушами. Бросит он мясо. Срубят панты — и дальше. Может, возьмет малость подкоптить. А так — некогда и ни к чему бродяге возиться каждый раз с двумя центнерами мяса. Бросит! Тогда туши станут добычей хищников. Но на даровой пир припожалуют не только волки, медведи да лисы. Там будут и вороны. Поверху будут они летать, ждать своего часа, и не день, не два. Пока всю тушу не обглодают. Они и наведут на след».

И довольный удачной мыслью, пришедшей так кстати, Семен Васильевич поправил на плече карабин и зашагал в чащу.

Прикинув расстояние, Семен понял, что доберется лишь к темноте, но можно и поторопиться. Многого узнать у Комолова он не надеялся — парень, собственно, первый год самостоятельно пошел в тайгу.

Было еще совсем светло, солнце висело меж двух увалов, словно специально для Семена продлив день, когда инспектор вышел к летней избушке. Выглядела она дряхлой и почти заброшенной. И внутри царил тот неприятный беспорядок, который вызывал во флотском человеке Шухове предубежденность к обитателю. Инспектор до сих пор в привычках оставался верным флоту и его шепетильным традициям.

Антон в избушке не оказалось, но чайник на столе был почти горячий, и, несмотря на усталость, Семен Васильевич решил попытать счастья и добраться до ближайшей сидьбы у солонца. Приди он на час позже, Шухов, соблюдая охотничьи правила, не стал бы рваться к Антону в товарищи. Однако сидьба, судя по карте, находилась соблазнительно близко, а время не такое позднее, чтоб своим появлением у солнца он мог сорвать ночную охоту.

Оставив котомку и плащ в избушке, Семен Васильевич налегке отправился к узкому распадку по гальке почти пересохшего ручья. Сумерки копились только по чащобам, а золотой свет зари сиял в поднебесье. Гнус пропал, дышалось легко и свободно. Сильнее запахла трава, потому что царило безветрие. В тишине слышался мелодичный перезвон струи на перекате ручейка.

Слева скальная стена распадка поднималась очень круто, а внизу ее подточило половодье, выбив емкую

нишу. Зато правая стена была положе, поросла кустарником, за который легко держаться при подъеме. Правда, судя по карте, сидьба находилась с левой стороны. Но оголовье распадка могло оказаться узким, непроходимым, и инспектор решил обойти его поверху.

Хватаясь за ветви кустов, Семен Васильевич быстро поднялся метров на десять, не особенно заботясь о том, что сучья трещали, а из-под ног то и дело срывалась и с перестуком скатывалась вниз каменная мелочь.

Удар в спину был так силен, что перехватило дыхание.

И тут же раздался звук выстрела.

Семен припал к каменной стене, чтоб не потерять равновесия и не завалиться навзничь.

«Ранен!» — вспыхнуло в сознании.

Инспектор замер, словно в ожидании второго выстрела.

Пятно тупой боли в спине растекалось и немело. Удивительно горячей струей текла к пояснице кровь.

«Вниз! Вниз... — приказал себе Шухов. — Упаду — разобьюсь».

Обрывая ветви, волоча за собой корни трав, Семен начал то ли сползать, то ли скользить на дно распадка. Он видел: сучья и камни в кровь раздирали пальцы, но боли не было, как и в спине...

«Все... Это все... — торопливо, как бы боясь опоздать, подумал Семен. — Быть не может! Нет!»

Он хотел сказать это «нет!» вслух, громко, но онемевшие губы не послушались. Голова Семена против его воли свалилась набок и назад. Последним усилием он подтянул ее, тяжелую, точно набитую дробью, и уронил лицо на камни.

«Почему?.. Зачем?.. Кто?..» — проплыло в сознании, и оно затуманилось, померкло.

VI

«Вот, дружок Антоша, пришла пора платить тебе по счету. Хватит, поиграли. Мне бы еще недельку выкроить! Иначе не уйти», — подумал Гришуня и проворно одолел скальный взлобок. Кряжистый, но увертливый, Гришуня Шалашов осторожно вошел в лабиринт высоких кустов чертова перца, и ни единая сухая ветка не хруст-

нула под его ногами, обутыми в сыромятные олочи. Не касаясь колючих ветвей, Гришуня отыскал прогал в листве и устроился около. Меж лапчатых листьев хорошо просматривался недалекий склон, поросший пальмовидной аралией и пышной лещиной, у которого притулился балаган Комолова. Сам Антошка, видимо, еще отсыпался после удачной ночной охоты. Вернулся он давно, и пора бы ему подниматься, чтоб варить дорогие о восьми отростках панты. Гришуня знал и об удачной охоте и дорогих пантах. Утренней зарей он видел стадо изюбров в бинокль на далеком увале. Теперь уже много ближе к балагану. И отметил пропажу в другом стаде еще одного пантача.

Конечно, Шалашову ничего не стоило спуститься к балагану и разбудить Антошку. Только сначала нужно присмотреться, примериться к человеку, который тебе нужен. Так учил папаня, а он всегда знал, что делать, и в людях ошибался редко.

«Чтоб повадки узнать, человека надо подсмотреть наедине с собой. Тут он у тебя, что букашка на ладони. Среди людей человек самим собой не бывает. Он, будто тигра в цирке, и сквозь огонь прыгнуть может, хотя это-кое всему его естеству противно...» — наставительно говорил папаня и расценивал свои советы на вес золота. Сам папаня, благополучно взяв с «боговой» тайги круглую денежку на безбедное существование, купил домик на окраине крайцентра и наслаждался жизнью с шелковой тридцатилетней вдовицей, хотя самому ему перевалило за семьдесят.

Сыновей у старика было четверо, да трое пошли по своей дороге, а вот поскребыш Гришуня притулился около. В молодости, которая пришлась на двадцатые годы, старик сообразил, что тайга осталась единственным местом, где еще возможно схватить фарт за чуб. И схватил, да с Гришуней делиться не пожелал, но на таежную науку не скупился и советами оделял щедро. Все, что хотел Гришуня в свои сорок лет, это чтоб обильная жизнь без хлопот пришла к нему не в шестьдесят, как к папане, а вот сейчас, теперь. Тут папаня тоже не отказал в наставлении.

— Что ж, — разглаживая едва тронутую сединой бороду, шурился Прохор. — Рискни. Чего ж, как городскому псу не только на сворке, а еще и в наморднике ходить. Мы — вольные люди. Мы — Шалашовы! Наши

деды и прадеды в тайге хозяевами были. Все — наше!

— Тогда, папаня, законы другие были.

— Закон по тайге в мышинном кителе ходит. Соображаешь? Законы... Законы все на одну колодку — нельзя. А почему — нельзя?

— Так ить, папаня...

— «Так ить»! Так ить — всю жизнь, поджав хвост, и проживешь.

— Что делать-то?

— Брать! Брать! Пока есть. Я вот законов, что в книжках, не боялся, а тех, что с ногами, — либо лаской, либо таской. И ничего — жив. Так и ты. Ну, а за совет...

— Я не поскуплюсь!

— Молодец... Научился на посулы не скупиться. Обещанки, что цацки — детям в забаву. Шалая щедрость обесценивает даяние. Шкуру с радостью с себя спустишь, а ближний за твоей душой потянется. Зенки-то не опускай. За дело хвалю. Ты моими глазами на мир смотришь. А я не грабить тебя посылаю. Со мною ты хаживал, к тайге привычен. Помощник тебя к стаду выведет. Останется тебе курок нажимать.

— Место, конечно, и помощник — первое дело. Вы и сбудете.

— Само собой.

— А сколько мне-то перепадет?

— Не сколько, а за сколько. За месяц лет на пять безбедного житья, — прикрыв один и вытаращив другой крупный, чуть навывкате глаз, негромко молвил старик. — А брать надо много и сразу.

— По-божески, — прикинув, заметил Гришуна, но не удержался: — Хоть за такой риск...

— И оборони тебя, Гришуна, без моего ведома рисковать. Узнаю — сам донесу! А узнать-то я обязательно узнаю.

— Что вы, папаня!

— Ты молчи, молчи. И дело делай.

Так и поступил Гришуна. Правда, после долгой и кропотливой разведки, которую, не выходя за пределы города, провел старик. В прошлом году начал Гришуна. Перед выходом в тайгу он знал, что особо опасаться людей в округе Хребтовой ему не надо. В том районе промхоз не промышлял, всего одна охотничья бригада была вблизи и то юго-восточнее Хребтовой, откуда и выстрелы не доносились.

Однако по первому году встретился он в тайге ненадолго с Комоловым. Того от бригады поодаль поставили, чтоб самостоятельно присмотрелся парень к делу. А свела их случайно Гришунина жадность. Задумал он скрасть несколько пантачей без стрельбы. Вырыл на тропе, ведущей к водою, яму-западню. Дела этого он толком не знал, устроил понаслышке. Ходил к яме с неделю — ничего. Последний раз решил проверить — и плюнуть на затею. Подошел — видит, ружье валяется на ветках, прикрывавших яму. Хотел бежать, да плач услышал. Сжалился, заглянул. Вытащил из западни Комолова.

Антошка, как выяснил потом Гришуня, сам больше всего боялся, что бригадные узнают об оплошности. Выгонят из бригады — ладно, засмеют. Конечно, Гришуня не признался, что западню он вырыл. Спасителем быть куда удобнее, чем браконьером-неудачником.

И уж затем от нечего делать помог Гришуня молодому охотнику. Промысловики — люди занятые. Ну, а у Гришуни свободного времени пруд пруди, помог он и Антошке добыть и сварить панты, мяса навялить. Снова осчастливил парня. Комолов посчитал Гришуню за старшего брата.

Чего ж еще надо было Шалашову? Он и не выспрашивал особо, знал, что собирались предпринять охотники, куда путь намерены держать. У Комолова хватило сметки не распространяться о встречах со своим спасителем и благодетелем, тем более Гришуня и сам намекал, что большого желания общаться с кем бы то ни было у него нет.

— Но почему? — удивился Комолов.

— Служба у меня особая, Антон, — с важным видом врал напропалую Гришуня. — До поры до времени никто не должен знать, что в ручьях и речках в окрестностях Хребтовой выпущены выдры. На много тысяч рублей зверья выпущено.

— У нас народ сознательный, промхозный, — обиделся Антон.

— Знаю, знаю. Ваши — да. А пришлые, коли слух пойдет?

— Пришлые... мы посты организуем, кордоны.

— О чем говорить, Антоша! — расплылся в широкой улыбке глазастый душа-малый Гришуня. — О чем говорить, если на будущий год я сам пойду в промхоз. Вме-

сте пойдем. Доложим по форме. А там через годик-два и лицензии продавать начнут.

— Ух, — выдохнул Антон.

А Гришуня погрузнел:

— Заболтался я... Молод ты еще. А я-то знаю, в жизни так: когда тонут — топор сулят, а вытащат — так и топорщица жалеют. Раззвонишь...

Комолов впервые обратился к Шалашову по имени и отчеству.

— Григорий Прохорович! — торжественно произнес Антон. — Неужели вы не верите мне? Да я жизни за вас не пожалею...

Так шло дело в прошлом году. А нынче — закон в кителе мышинного цвета появился около Хребтовой.

Не то чтобы Шалашов вспомнил все это, лежа на редкой траве, с трудом пробившейся сквозь толстый слой палой листвы, но Гришуня должен был до конца продумать свое решение, а потому не упустил из расчета свои встречи и разговоры с Комоловым. Решение же Гришуне требовалось принять твердое, окончательное.

Еще вчера он увидел в бинокль человека в милицмейской форме, который, судя по всему, направлялся к Хребтовой. Ясно, что милиция понапрасну ходить в такую даль не станет. К тому же милиционер слишком внимательно разглядывал склоны Хребтовой в бинокль. В один момент Гришуне показалось, что взгляды их скрестились. Шалашов почувствовал, как спину обдало холодным ознобом. Как и в прошлом году, он ни одного дня не пропускал и трижды за светлое время старательно и придирчиво осматривал окрестности Хребтовой. И ни разу не появился на ближних сопках дымок чужого костра, а сам он готовил еду с превеликими предосторожностями, разводя костерик у редколистого дуба, который кроной своей развеивал дым. Казалось, все предусмотрел старик Шалашов, и Гришуня ни в чем не отступил от его наставлений. И вот те на! Милиция.

«Пронюхал, выходит, кто-то обо мне. Не с бухты-барахты милиционер идет, — размышлял Шалашов. — А почему бы и не с бухты-барахты? Один! Если бы точно все знали, то не один бы явился! Да и техники им не занимать. Нет! Меня никто не перехитрил. Сообщить-то, видать, сообщили, да только и всего. Вот и пошел

местный милиционер проверить... Так, оно, пожалуй, и есть.

Тебе-то что, легче от его разведки? Куда ж милиционера денешь? А тебе недели две нужно, чтоб с вьюком добраться до верного человека. Спустишь с Хребтовой по другую сторону, в другой район — и на вертолет. Чего за милицию думать?

Постой, не колготись, Гришуня. Именно за милицию ты и должен думать. Сумеешь разобраться в их планах — сухим из воды выйдешь. Нет — получай...»

Шалашов рассудил так. Разведка так разведка. Предположим, милиционер не сомневается: в заказнике кто-то бьет зверя. Где милиционер это узнал? В тайге? Нет. В Горном кто-то сказал... Кто? Пока не важно. Но идет он один. Получается, не очень-то верит сказанному... Куда милиционер пойдет? Окрест один охотник — Комолов. И придет милиционер к Антошке сегодня. Сегодня вечером. И ему, конечно, очень будет интересно знать, как охотится сам Комолов. Тогда он пойдет на сидьбу. Пойдет вечером, чтоб не прозевать чего.

«Соображай, соображай, Гришуня! — обрадовался Шалашов. — А вдруг — случайный выстрел? И нет милиции! А парень... Вот кому камушки-то на голову можно ссыпать! Кто его особенно-то искать будет? И пульку-то в милиционера из карабинчика Антона пустить можно. Антошка-то и не догадается, что это подстроено! Куда ему!»

Гришуня так возрадовался найденному выходу, что не заметил, как вскочил на ноги. Колючки дикого перца, оцарапавшие лицо, привели его в себя. Гришуня отер капельки крови, выступившие на заросшей щетиной щеке.

«Все, Шалашов! Решил и не сворачивай! Твердо иди — тогда не заюлишь. Другой дороги тебе нет! И что Антоша в дружбе клянется — тоже хорошо. Вдруг возьмет вину на себя? И точно, возьмет. Тут дело верное. Только разжалобить как следует нужно...»

Гришуня вошел в балаган, уверенный в себе, чуточку ухмыляясь, а в его крупных, чуть навывкате глазах играла отчаянная удаля. Он очень нравился самому себе.

— Здорово, барсучье племя! — хохотнул Гришуня, расталкивая спящего Антошку. — Зарылся в нору. Фарт проспишь. Ишь, какие панты убил! Везуч! Да нет, не

везуч. Умел! Вот это да, восемь отростков! Хорошо должен получить.

— Рубликов двести отвалят, — гордо сказал Антошка, усаживаясь на подстилке. Он улыбался Гришуне, утру, удаче.

— Не много ли? — ставя в угол свой карабин, постарался усомниться Шалашов.

— Нет. А уменье... Карабин хорош.

— Не в технике дело, Антон, — наставительно заметил Шалашов и взял в руки комоловский карабин. Гришуня прикинул оружие, словно на вес, прилаживая к нему руку. Потом снял предохранитель, открыл затвор и присвистнул: — Что за новости? Вот это пульки...

Покраснев от стыда до слез, Антошка стал говорить, что обойму таких, особо убойных патронов ему подарил, да, именно подарил, егерь Федор Фаддеевич Зимогов. Не мог Комолов даже Гришуне признаться, что стащил обойму из ящика стола.

А Гришуня подумал:

«Такое твое счастье, товарищ милиционер, идущий сюда... Таков твой фарт. Убит ты будешь пулей егеря из карабина Комолова... А как все получилось, Антоша, царство ему небесное, из-под каменного завала не расскажет... Рано хороню парня? Тем крепче!»

— Очень хорошие патроны! Как ни стукну — есть. Один раз даже обнизил, а пантач все равно лег. Я просил у егеря еще одну — для тебя. Не дал.

Оправившись от смущенья, что солгал другу, Антоша принялся одеваться, потом плеснул себе из лохани воды в лицо. Вытираясь подолом рубахи, спросил:

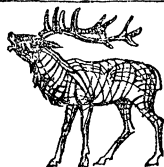
— Когда же ты со мной на охоту сходишь? Ведь обещал.

— Сегодня, Антоша! Сегодня! Больно у меня построение хорошее. Пойдем в ближнюю сидьбу. Глядишь, и панты и мяса добудем. Свежинки захотелось. Я тебе такую сидьбу покажу!

Антон смотрел на друга счастливыми глазами. К вечеру от нетерпенья даже поменялся с Гришуней карабином — уж так хотел угодить приятелю.

Поужинав, они отправились к сидьбе у солонца. Осторожно, как и подобает охотникам.

Сидьбой обычно называют построенную из корья крохотную землянку. А эта была оборудована в прикорневом дупле. Выбрали ее со знанием дела. Липа была



старой, привычной для зверья и не вызывала никаких подозрений у сторожких изюбров.

Лаз сидьбы был узок, но из него далеко просматривались подходы к засидке. И это — самое важное для Гришуни. Что до бойницы, то стрелять из нее по зверью — одно удовольствие.

Лежали тихо, не шевелясь. Антон по давнему совету Гришуни берег глаза, притулился поудобнее, зажмурился.

Гришуня не сводил взгляда с пологого склона распадка, метрах в двухстах от сидьбы. Кругом было уже темновато, но в прогале меж деревьями, в распадке, еще четко различались ветви кустов и редкая трава на каменистом склоне. А когда там появился человек в фуражке с ярким околышем, Гришуня даже не удивился точности своего расчета. Он только мельком взглянул в сторону, не перепутал ли он карабин Антоши ненароком со своим. И, убедившись, что у него в руках оружие Комолова, выстрелил.

Выстрел в сидьбе был оглушающ, и вскрик Антона как бы потонул в нем.

Потом Гришуня кинулся к лазу, но ошеломленный Антон опередил его, выскользнул раньше. Не сговариваясь, они побежали к распадку, обогнули его начало и почти кубарем спустились в русло пересохшего ручья. Тут Антон остановился как вкопанный, увидев тело инспектора:

— Ты Шухова убил...

— Медведя я целил! — воскликнул Гришуня. — Медведя! Он шагах в десяти у сидьбы был.

— Какой медведь?

— У сидьбы... — и, будто только тут поняв происшедшее, Гришуня крикнул в голос: — Конец мне! — и, хватая Антона за руки: — Не видел я его, сам знаешь. Разве я... Антошенька, друг, погиб я теперь!

— Может, жив... а, Гришуня? Может, жив? — Антон пригляделся к лежавшему инспектору.

— Под лопатку ударил. Вон след.

— Давай, давай посмотрим.

Попятившись, Антон натолкнулся на Гришуню:

— Не шевелится.

Подталкивая Комолова, Гришуня приблизился к телу.

— Мертвый... — словно эхо, повторил Антон.

— Убьют меня теперь... Расстреляют. Пропала жизнь. Расстреляют!

Комолов обернулся и поглядел в глаза друга:

«Его, Гришуню, расстреляют... Расстреляют... Его — друга, брата? Но разве он хотел убивать? Разве Гришуня, его друг — убийца?»

А Гришуня сел на склон распадка и мотался из стороны в сторону и мычал, хватался за голову. Он не боялся переиграть. Ведь бывали подобные случаи на охоте, и почему бы Антону не поверить ему?

— Никто тебя не расстреляет. И судить не будет. И никто не узнает, что стрелял ты, — сладкий восторг овладел Антоном. Он, он спасет своего друга. Непременно спасет! Он возьмет вину на себя. Ему нет восемнадцати. Его будут судить, но не осудят так, как Гришуню.

— Брось, — бормотал словно в отчаянье Гришуня. — Брось, Антон!

— Я спасу тебя, Гришуня! Слышишь? Я все возьму на себя! Я... Я!..

VII

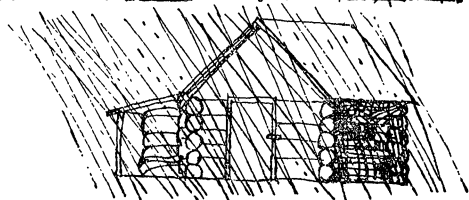
Сквозь клекот мотора до Федора долетало лишь шипение водяных струй, обтекающих борта лодки. Окрестные берега казались немые. Трепетали осины под напором ветра, стелились по его потоку ветви берез, выворачивались серебристой изнанкой листья ивняка.

За долгий путь Федору надоела вода, плывущие мимо берега, и он был слишком обеспокоен судьбой Семена Васильевича, чтоб любоваться красотой окружающего его таежного мира.

«Да, все бы ничего, кабы не злополучная задержка Семена Васильевича, — думал Федор. Хотя были они погодками, егерь называл инспектора по имени-отчеству. Однако, по-дружески на «ты». — Куда старший лейтенант мог запропасться? Что за непонятные значки на его карте? Почему он интересовался Комоловым?»

И хотя Федор противился Стешиному выходу в тайгу и понимал, что решиться на такое могла только горожанка, в душе он был рад за Семена, которого так любят.

Стеша сидела на средней скамье длинной лодки



егеря, на которой при надобности и груз солидный можно было перевезти и копну сена. Вспомнив вдруг, что Семен называл скамьи в лодках по-морскому «банками», Степанида Кондратьевна едва удержалась от слез.

После размолвки с Зимогоровым на кордоне Стеша без нужды не заговаривала с егерем. Федор, в свою очередь, тоже не навязывался в собеседники. За двое суток с короткими ночлегами они прошли около двухсот километров против течения. Идти по реке Федор решил в последний момент, рассудив, что повторять путь Семена Васильевича посуху, да еще пешком — бессмысленно. Надо как можно скорее выйти к Хребтовой, к Комолову, мимо которого инспектор не пройдет, раз спрашивал о нем. А к Антону можно было добраться и минуя участки охотников-удэгейцев.

Против приподнятого над водой носа моторки маячила слепящая искристая полоска солнечных бликов. Глаза егеря устали и слезились. Он натянул фуражку до бровей, но и это не помогло.

Вскоре лодка пошла в сумрачной прохладной тени отвесных скал-щек, и Федор немного отдохнул от слепящего надоедливового света. Егерь нетерпеливо ждал последнего кривуна, выжал из мотора все, что мог дать, и с широким разворотом выкатился на приволье плеса. Вдали он увидел среди поймы рыжий скалистый мыс, крохотную избушку-заимку около ее вершины, которая четко вырисовывалась на фоне огромной иссиня-аспидной тучи, по-медвежьи вздыбившейся над дальними горами.

Слабая надежда Федора, что Семен Васильевич, может быть, окажется здесь, на заимке, растаяла. Никто из избушки не вышел на косогор, хотя Федору показалось, будто кто-то понаблюдал за ними и исчез. Однако егерь твердо знал, что быть тут некому.

Едва лодка подошла к мысу и ткнулась носом в песок, Стеша выпрыгнула на берег и пошла по едва приметной тропке вверх, к заимке.

«Не-ет, далеко тебе, Стеша, до таежницы, хоть ты и жена Семена Васильевича», — ухмыльнулся Федор, глядя ей вслед.

Егерь долго оставался около лодки. На узкой полосе песка под скалой он заметил следы охотничьих олочей. Все-таки кто-то и впрямь спускался к реке за водой.

По ровному шагу можно было судить, что чувствовал человек здесь себя покойно, действовал не торопясь, не суетливо. Резкая вмятина у носка говорила о том, что был он молод, шагал широко, чуточку с вывертом внутрь. Так ходят люди, недавно надевшие таежную обувь без каблучков.

«Так что ж... — решил Федор. — Антошка Комолов тут и шастал. Кому ж еще быть? Только зачем? Не ко времени ему гулять вдаль от пантачьих троп... Дня три потерял он, зайдя на заимку. Не мене... Когда ушел? Да и не тут ли он? Нет. Антошка сошел бы к воде. Помог».

Неторопливо размышляя об этом, Федор выгрузил продукты, привезенные по случаю на зиму, снял подвесной мотор, повыше вытянул лодку и крепко привязал ее, зная, что дальше придется идти пешком. Завершив дела, Федор взвалил на плечо мотор и двинулся вверх, к избенке.

«Стеше говорить о Комолове не след, — решил егерь. — Лишние расспросы да догадки...» Но зародившееся чувство тревоги уже не оставляло его.

Стеша сидела на приступочке заимки и безучастно глядела поверх текущей вдаль реки. Теперь когда не слышалось даже привычного стука мотора, Стеша ощутила вдруг глухую враждебную отчужденность окружающего мира, тайного, злого.

«Натерплюсь я с ней, — тоскливо подумал Федор. — Не бабье все ж дело по тайге бродить, сопочки обламывать. Не по хрупкой Стешиной конструкции. Моя Маша — совсем другое дело».

Егерь прошел в крохотные сенцы и пристроил мотор в углу.

— Был здесь кто-то, — услышал Федор голос Стеши. — Совсем недавно. То ли убежал, то ли ушел, когда нас увидел. Печка горячая...

Федор ответил не сразу:

— Антошка Комолов. Пантует. Я ж говорил тебе — заходил он к нам на кордон. Предъявил лицензии на отстрел. Целых три! Силен...

— Слышала... — кивнула Стеша вышедшему из сеней Федору.

— С охотничьими делами у Комолова, поди, все в порядке, — сказал егерь, хотя никак не мог взять в толк появление Антона здесь, на заимке. — Зачем ему

безобразить, когда через недели полторы из тайги выходить надобно?

— Вот-вот... потому и набедокурит, — вдруг перебила егеря учительница.

— Вы педагог. Вам виднее, Степанида Кондратьевна, — улыбнулся Федор. — Одно скажу. Если бы Семен Васильевич подозревал в чем-то Комолова, он непременно меня дождался бы. Тут чего-то не то...

— «То» — не «то»! Нет Семена. Нет, и все тут! — сорвалась Стеша. — Где он? Где?..

Прекрасно понимая, что не терпится Стеше начать поиски и душевные силы ее напряжены до предела, Федор все-таки не смог смолчать:

— Ну чего ты на меня взъелась! Ты не инспектор, так чего ж... Тут моя воля — брать ли, не брать тебя в тайгу. И сейчас скажу — жалею. Потому как не знаю, чего ты там натворишь. Не знаю и ручаться не могу.

— Полно, Федор!

— Тебе-то что! А в ответе перед Семеном Васильевичем буду я. Найдем его у охотников. Не у одних, так у других. Ну, случилось чего... отлеживается, поди. Оставайся тут, на заимке, Степанида Кондратьевна. Ей-ей, и тебе, и мне спокойнее...

— Нет!

Вздыхнув, Федор опять отправился вниз, к лодке. Теперь, когда надежд на то, что они повстречают инспектора в добром здравии, оставалось все меньше, егеря задумался над тем, как Стеша поведет себя с людьми, которые вольно ли невольно повлияли на судьбу ее мужа, а может быть, и оказались виновниками какого-то несчастья. Бывают в тайге такие случаи и случайности, которые — хоть век думай — не выдумаешь, потому и не предусмотритишь.

А Стеша не могла понять, почему Федор возится здесь, на заимке? Нарочно не спешит? Ведь надо как можно скорее отправиться по тропе Семена!..

Медлительность егеря раздражала Стешу. Но она не могла совсем разругаться с Федором.

— Федор, скоро мы пойдем? — не сдержалась Стеша.

— Чего же нам рассиживаться? С утра и двинем.

— Смеешься... — ахнула учительница. — Там человек пропадает! Гибнет, а ты «с утра»! Как же тебе не стыдно? Семен тебя другом считал...

Егерь прошел мимо, бросив на ходу:

— Рано корить да попрекать начала...

— Дело надо делать! Дело делать!

— «Дело»... Вон гроза идет. Это одно. Другое — ночевать где будешь? В тайге? Под открытым небом?

— Подумаешь — промокнем! — запальчиво воскликнула Стеша. — У костра обсушиться можно! Не зима!

— А ты пробовала у костра-то сушиться? — перешел в наступление Федор, которому надоели понукания. — Пробовала? Один бок жжет, другой мерзнет. Скажешь, читала, мол, в кино видела, Семен рассказывал? Так в клубе, в тепле, что угодно претерпеть можно.

— Брось, Федор! — отмахнулась Стеша.

Егерь хотел что-то добавить, но удар грома оборвал его. Избенка дрогнула, точно от землетрясения.

Стеша закрыла лицо руками.

— Боишься? — спросил егерь, едва стих раскат.

— Нет. Только в доме не люблю быть...

— Сбоку от двери навес. Идем.

Они вышли и встали под козырек из корья, насленный рядом с дверью.

Снова ударил дальний гром, забухал в облаках. И вдруг раскат звонко разорвался в высоком ярко-белом облаке над их головами.

Гроза, видимо, долго копилась за горами. Там она набиралась сил, пока ветер не нажал на тучу с такой мощностью, что она перевалила через хребет. От заимки было видно, как на отрогах свирепствовал ураган. Их мгновенно затянула пылевая волна, которая стремительно скатывалась в долину. Вспышки молний метались в облачном чреве почти непрерывно, зловеще-багровые, угрюмые.

За пылевой бурей следовала бледная по сравнению с тучей стена дождя.

— Это крыло тайфуна... — прошептал Федор.

Около заимки все еще держалась глухая деревянная тишь; не дрема, а неподвижность, подобная отрешенности.

— Крыло... — шепотом отозвалась Стеша. — Что ж там, в тайге, творится?

Федор промолчал, да жена инспектора и не ожидала ответа.

Теперь на широком сизом речном плесе ветер обозначился тяжелыми пятнами ряби. Они растекались,

судорожно подергивались под порывами, вспыхивали пенными барашками.

А по долине, обрывавшейся мысом, уже несли пылевой вал. Он выглядел очень светлым, словно пронизанным солнцем, желто-рыжим. Перед ним металась клубки сухой травы, ветви, а выше кувыркались обезумевшие птицы. Они искрами мелькали на мрачном занавесе ливневой стены...

— Не нравится мне эта кутерьма... — пробормотал Федор и переступил с ноги на ногу. — Ей-ей, не нравится.

— Обойдется... — опершись плечом на поленницу, Стеша глядела на катящуюся на них волну шквала с любопытством и без страха.

— Бежим! — Федор схватил ее за руку.

— Зачем?

— Разнесет все вихрь! Избушку разметет! Бежим! Под откос, к реке... — и, не дожидаясь, пока Стеша последует за ним, Федор потянул ее вниз.

— А вещи, мотор?

— Поздно! Скорей, скорей!

У спуска егеря хотел пропустить Стешу вперед, но она замешкалась. Тогда, не обращая внимания на ее ойкания и причитания, Федор потащил Стешу за собой вниз по извилистой тропинке. Они не сделали и десяти шагов, когда слабое колыхание ветра коснулось лица Федора. Он рванул Стешу за руку с такой силой, что она, словно в танце, повернулась вокруг себя и, миновав егеря, уперлась в травянистый выступ у очередного поворота тропинки.

— Дальше не успеем! Держись! — крикнул Федор.

И тут на них повалились трава и ветви, и тугая плотная волна вихря обрушилась сверху. Стеша сжалась в комок и уткнулась в грудь Федору, ухватилась руками за его плечи, словно он был камнем, который не сдвинет ничто.

Новый, совсем свирепый порыв прошел верхом. Напор его оказался столь стремительным, что вся пыль, и сушняк, и бревнышки, и корье с крыши избенки перелетели дальше, прямо в реку.

Рядом упало скатившееся бревно. Федор поднял карабин, чтобы хоть как-нибудь защититься от деревянной ветоши, из которой была собрана хлипкая изба. Но он вовремя понял, что так бревно не удержать, и

воткнул приклад карабина в берег над головой. Тут же съехавшее стропило от развороченной крыши стукнулось о цевье и задело Федора по спине. Не выпуская карабина, егерь свободной правой рукой изловчился ухватить стропило и задержать. Потом он подтянул его чуток и уткнул одним концом в край тропы.

— Теперь прикрытие понадежнее... — проговорил он.

Сверху посыпались, покатались дрова из разметанной поленницы. Они били Федора по спине, а он думал лишь об одном, как бы понадежнее прикрыть Стешу, которая прижалась к нему и изредка вздрагивала, когда удар бывал особенно силен.

Наконец вой вихря стих.

Федор, поднатужившись, скинул навалившиеся на них дрова:

— Бежим к лодке!

И, не выпуская Стешиной руки, егерь снова потянул ее вниз. Ошеломленная и испуганная до немоты, Стеша беспрекословно последовала за ним.

Кругом стояла странная тишина. А в нескольких сотнях метров от них, над рекой, крутился пыльный смерч. Он был высок и плотен, а вода под ним словно кипела. У берега в грязной пене плавали бревна и сучья, поленья и закрученная в клубки сухая трава. Все это Стеша отметила мельком, потому что вдруг, без обычных первых щелкающих капель, в блеклом свете сумеречного дня с неба низвергся водопад, словно кто-то наверху открыл плотину.

Струи воды, тут же хлынувшей с яра, едва не сбили Стешу с ног. Она, наверное, упала бы, но сильная рука Федора поддержала ее. Когда они оказались около лодки, вязкая селевая грязь была уже по колено.

Федор понимал всю бессмысленность его попытки спрятаться от этого потопа под лодкой, но и стоять под потоком было и того бессмысленней. Они подлезли под перевернутую лодку. Федор приподнял посудину на плечах и приткнул носом в береговой выступ.

— Дышать тут можно!

Стеша кивнула, тараща на Федора остановившиеся с перепуга глаза.

— Что это, Федор?

— Крыло тайфуна.

— Сесть бы... Ноги не держат.

— Некуда!

Она закивала и обхватила руками плечи. Знобило, потому что одежда промокла до нитки.

— Терпи... — бросил Федор.

— Что?

— Терпи, говорю!

Водопад с неба то вроде бы слабел, то вновь припускался с новой силой. Грязь лилась под ноги нескончаемым потоком, словно ливень старался смыть мыс до основания.

— Долго еще? — спросила Стеша.

Федор пожал плечами:

— Как перестанет, так и хватит.

Подмытая каменная глыба рядом с лодкой неожиданно стала сползать в реку.

— Проваливаемся! — не поняв, в чем дело, закричала учительница.

— Стой! Стой! — заорал на нее Федор. — Стороной камень пройдет!

Стеша замерла, прижала руки к груди и что-то лепетала невнятное. Ей из-под края лодки было видно, как седой от брызг камень постепенно уходил вглубь, пока не пропал в мутной коловерти. Точно сделав задуманное, ливень стал скудеть и вскоре стих.

Выбравшись из-под лодки, Стеша не узнала окрестных мест и реку. Грязная, в ошметках пены, бурливая вода поднималась на глазах. По ней скользили сломанные деревья и сушняк, будто гроза угробила целую флотилию парусников. Меж деревьяшек ловко плыл смытый потоком удавчик в желто-черную полоску. Голова его вихляла из стороны в сторону. Глаза казались очумелыми.

Стешу передернуло.

— Наверх, наверх! — торопил ее Федор. — Карабкайся быстрее.

— Не сумею.

— Тогда за мной бреди.

Над ними спешили иссякшие светлые тучи, подгоняемые почти нечувствительным у земли ветром. Было холодно, промозгло, будто в леднике. Оскальзываясь и чертыхаясь, Стеша старалась не отставать от егера.

— Подвезло тебе, Степанида Кондратьевна. Угостила тебя тайга горячим, аж до слез.

— Обсушиться бы... — сквозь стиснутые от холода зубы проговорила учительница.

Федор подошел к развалинам избы и стал растаскивать бревна.

— Давай помогу, может, согреюсь.

— И то... Мне твоё воспаление легких ни к чему. Поняла? — отводя в сторону один из венцов избышки, сказал Федор.

Егерь развел костер, развесил одежду на колышках.

— Ватник — долой, сушить пора. У огня не озябнешь. Только поворачивайся, не застаивайся, Степанида Кондратьевна.

Согревшись у огня, Стеша предалась невеселым мыслям.

Над темно-зелеными увалами застоялись несколько тучек. Освещенные закатом, они очень походили на яхты под алыми парусами. Но и эта живописная картина не тронула душу Стешы. Она думала о том, как же туго пришлось под ливнем Семену. Ведь он один там. Может, ему так плохо, что и жизнь не мила...

Зябко пожившись, Стеша потуже стянула полы ватника. Мир словно ограничился неровным мерцающим кругом света от костра. А дальше ничего не было, кроме крошечного мрака. И оттуда доносились всхрипывающие, всасывающие звуки, издаваемые невидимой рекой, вспухшей от селя.

Пораженная этим гнетущим ощущением, Стеша сказала себе: «Ты приняла решение, ты пошла в тайгу, беспокоясь за судьбу мужа. И веди себя так, как подобает человеку. Страшно тебе? Ты знала — будет страшно. У тебя в грязи лицо и руки. Вставай, умойся, причешись. Это совсем не много. И не думай, будто тебе трудно. Тебе легко. С тобой Федор...»

Она умылась, привела себя в порядок. Ее бодрый вид успокоил Федора, который собрался было вновь уговаривать ее остаться здесь и не ходить в тайгу. Когда Стеша, умытая и причесанная села у костра перед входом в балаганчик, сооруженный Федором из бревен, егерь глянул на нее с некоторым удивлением, настолько она преобразилась.

Ничего не осталось в ней от прежней Стешы, подавленной предчувствием несчастья, какой она была в лодке, ни от той, растерянной и жалкой женщины, что прискакала на кордон и плакала навзрыд.

Все в ней теперь стало иным. Сидела она перед костром на бревнышке, словно за званым столом — прямо, и гордая посадка головы подчеркивала ее внутреннюю подтянутость. Темные волосы, расчесанные на прямой пробор, опускались вдоль щек и плавным изгибом уходили к затылку. И в их обрамлении ярче выделялся чистый высокий лоб и смелый росчерк бровей. Густые ресницы скрадывали блеск глаз. Нос был прям, а уголки пухлых губ таяли в щеках чуток капризными ямочками.

— Вот это другое дело, — сказал Федор, обрадованный переменой. — А то и не узнать тебя было.

— Не хочу чувствовать себя вдовой.

— Правильно. Вот такой можно идти в тайгу.

Они сидели у костра и ужинали, как ровня — таежники, и егерь порадовался, что у его друга такая жена. Пусть она немного и растерялась поначалу, зато теперь, видно, станет держаться молодцом. Жаль, конечно, что они с Семеном Васильевичем так и не подружились домами. Ведь, наверное, правду говорят, трудно, мол, сойтись двум красивым женщинам, да еще счастливым...

Утро пришло ясным и светлым.

Они ушли вдоль берега ручья. Слыша за собой размеренные шаги, Федор с часу на час обретал в душе все большую уверенность, что человек, идущий за ним, не станет обузой.

— Вот здесь и свернем, — сказал он, остановившись у серого обезображенного лишайниками большого камня. — Ты, брат, косынкой покройся. Оно хоть время клеца и прошло, а опасаться надо.

Повязав платок, как это делают женщины на покосе, Стеша наивно спросила:

— А где ж тропа, брательник?

Федор не сдержал улыбки:

— Так сквозь чащу и направимся. Тут не сад.

— И скоро придем?

— К вечеру.

— А куда?

— К балагану Айтона Комолова.

— Он же сбежал от нас! — удивилась Стеша.

— Вот и разберемся.

— А вдруг не застанем его? Он же был на мысу. Нас увидел — сбежал.

— Следы все скажут. Ты только всяким мыслям волю не давай. Ни к чему, брат.

— Постараюсь...

— Спрашивай меня обо всем. Спрашивай, спрашивай. А я отвечать стану. Любопытствуй. Поняла?

— Где тропа?

Они углубились в чащу, пробирались неторопливо в густом орешнике, среди высоченных трав, и Федор говорил о том, что охотничья тропа — это скорее выдержанное направление на какой-то ориентир по удобному или привычному пути. В тайге троп, как их понимают горожане, нет и быть не может. Если, конечно, не считать звериных, вытопанных лосями, изюбрами или кабаньим стадом. Но они не для ходьбы.

Потом Стеша спрашивала его о травах и деревьях, которые попадались на их трудном пути. И он рассказывал до первого привала, а затем они снова отправились в дорогу, и, разговаривая, шли до второго привала, пока на закате не подошли к балагану Комолова.

Антон спал в глубине его на подстилке из лапника. И тут же рядом с ним лежали плащ и котомка инспектора.

Оттолкнув Федора, Стеша проскользнула в балаган.

— Здесь! Жив! — и принялась трясти Комолова, который с трудом очнулся от тяжелого забытья. — Где? Где Семен? Да проснись же!

Вытаращив глаза, Комолов уставился на учительницу, словно на привидение.

— Чего вам? — Антон вдруг дернулся к выходу, схватив карабин.

Федор удержал его за шиворот:

— Очнись, Антон! Не медведи мы! Где инспектор?

Комолов тусклым взором ткнулся в лицо Федора, а когда перевел взгляд на Степаниду, то рот Антона дернулся в судороге:

— Чего, чего вам?

— Семен где? Вот его вещи: плащ, котомка. Что с ним? Да говори же! Говори!..

— Подождите, Степанида Кондратьевна! — остановил Шухову Федор.

Егерь посветил фонариком в балаганчик и увидел у стенки пустую бутылку из-под спирта.

— С похмелья Антон, — сказал Федор.

— Оставь его, — проговорила Стеша безглаголиво.

«Как бы не так! — решил Федор. — Самое время мне с ним поговорить. Отведу-ка я его к ручью. Там самое удобное место».

Глядя, как Стеша совсем неумело пытается развести костер, егерь не помогал и не мешал ей советами.

«Пусть, пусть старается, — говорил себе Федор. — Это хорошо. Она должна стараться, характер показать... Только почему же Антон так испугался Стеши? До ужаса испугался! Пойду-ка прополощу его башку в холодной водице. Скажет тогда, откуда у него в балагане котомка и плащ Семена Васильевича. При Стеше разговора может не выйти. Очень уж Антон почему-то боится ее...»

— Давай, охотничек, поднимайся! — обратился егерь к Антону, который сидел на земле у входа в балаган.

Комолов вскинул тяжелую, видно, голову, словно хотел рассмотреть того, кто к нему обратился.

— При... приз... — пытался он выговорить, — желаю...

— Вот-вот, — пробурчал Федор, взялся за воротник Антонова мокрого ватника и поставил Комолова на ноги...

— Хочу... — сказал Комолов. — Хо-чу... приз... на... хочу!

— И я хочу, — и Федор, подхватив парня под мышки, то ли повел, то ли поволок к ручью, сильно шумевшему селевым, еще не опавшим паводком.

— Не хочу! — вдруг уперся Комолов. — Туда не хочу!

Тащивший его Зимогоров почувствовал: расслабленное тело Антона напряглось. Отстранившись, Комолов посмотрел на егеря почти мгновенно протрезвевшим взглядом.

Но егерь сгреб его в охапку и потащил прочь от балагана, от Стеши, которая все еще разводила костер. Она поглядела вслед ушедшим и покачала головой: «Что ж это такое? Ведь хороший парень — и на тебе. Остался на несколько дней без присмотра — и готово: водка...»

Затрещали ветви в огне, и Стеша обрадовалась. Ей-таки удалось развести костер из мокрых сучьев. И она посчитала, что сделала это довольно быстро. Пламя полыхнуло жаром, и Стеша чуток отошла, огля-

делась. Свет заходящего солнца косо врывался меж стволов, но под кронами было сумрачно и сыро. Клубы дыма, поднявшись, дотянулись до невидимых в прозрачном воздухе лучей, и вдруг в клубах словно вспыхнула оранжевая лампа, яркая, переливающаяся. Около балагана, притулившегося к косогору, сделалось светлее и даже как-то уютнее.

Стих далекий треск ветвей под ногами Федора. Треск, который Стеша старалась не слышать.

А Зимогоров тем временем подтащил упиравшегося Комолова к бурному, еще пенному потоку и, поставив его на колени, стал пригоршнями черпать воду и лить на голову Антона. Тот сначала мычал и старался вывернуться, но потом успокоился и только фыркал.

— Хватит, пожалуй.

— Хва... — Антон по-собачьи потряс головой.

Егерь поправил сползший с плеча ремень карабина и, стоя над Комоловым, усмехнулся:

— Охотничек...

— Признаться... Признаться хочу, — выговорил наконец Антон.

— Да уж признавайся, чего там, — Федор благодушно помог парню встать на ноги. Волосы нависли на глаза Антона, капли текли по щекам, и он провел ладонями по лицу, чтобы стереть их. Теперь он был трезв, даже не пошатывался.

— Степаниде Кондратьевне не скажи... только.

— Герой.

Антон протянул руку вперед, едва не задев Федора:

— Там я его оставил.

— Столько мяса испортил. Эх, жадность! Знал ведь — тяжело нести будет, а три лицензии взял, губошлеп.

— Не мясо, — не опуская руки, сказал Антон. — Его...

— Ладно, разбере... — начал было Федор и осекся. — Кого это?

— Инспектора...

Зимогоров поглядел в ту сторону, куда указывал Антон.

Вспученный ручей занимал все каменное русло распадка. Вода катилась уже спокойно, но была еще высокой. В тишине слышалось, как где-то в ветвях закопошилась птица, взлетела, щелкая крылом о крыло,

пошла плавно. Странно сильно запахло влажной прелью и гнилью.

— Чего ты? О ком ты?..

— О Семене о Васильевиче... я его... я пулю кинул... нечаянно, признаюсь. Признаюсь!

Застонав, егерь подсел, потом, охнув, разогнулся и ударил Комолова кулаком куда попадя. Не отдавая себе отчета, Федор сдернул с плеча карабин и, лишь от удивленья, что не видит Антона перед собой, а тот валяется на земле шагах в пяти, не выстрелил. А тут же подумал: «Нельзя! Стеша услышит».

— Я признаюсь... признаюсь... — лепетал Комолов разбитыми губами.

Увидев кровь, Федор опомнился, с трудом вынул сведенный судорогой палец из скобы:

— Повтори.

— Нечаянно... я признаюсь. Убил. У-убил.

Отбросив в сторону карабин и сжав кулаки, егерь медленно двинулся на Комолова. Федору хотелось бить и топтать это валяющееся существо, рвать его и истошно вопить. И снова только вид окровавленного лица остановил егеря. Он тяжело сел, опустив вмиг отяжелевшие руки на колени.

Антон на четвереньках подполз к нему и принялся говорить, что он и на мыс нарочно пошел, чтоб еще там признаться первому встречному в убийстве старшего лейтенанта, участкового инспектора Шухова, но, увидев в лодке вместе с егерем жену Семена Васильевича, испугался ее, удрал обратно к балагану.

— Испугался... — тяжело выговорил Федор и помотал головой.

— Испугался, — охотно подхватил Антон. — Очень ее испугался.

Услышав его голос так близко от себя, Федор снова почувствовал в себе закипающую ярость, готовую захлестнуть его темной волной.

— Семен Васильевич... — начал Комолов.

— Заткнись! — бухнув кулаками по своим коленям, гаркнул Зимогоров. — Заткнись! Слова не могли...

Через силу Федор заставил себя встать. Прижав костяшки пальцев к глазам, сбросил слезы. И тут только вспомнил о том, что сказала ему, прощаясь, Марья.

— Так, — протянул он. — И осталась вдова с сирот-

той... Точно говорят, будто бабье сердце — вещун. Как она сюда торопилась...

— Я же повинился... — опять сказал Антон.

— А, это ты? — словно только что увидев Комолова, проговорил Федор. — С земли-то вставай, чего ползаешь? Давай я тебе лапы-то стяну ремешком. Оно спокойнее будет.

— Я готов не то претерпеть, Федор Фаддеевич, — поднявшись и подставляя руки, сказал Антон.

— «Претерпеть»... Терпят за правду, а по дурости мучаются. И надо еще посмотреть, подумать, как дело было. Это просто сказать — «нечаянно». Ишь ведь, убил, а нечаянно. Ты толком расскажи.

— Я в сидьбе был...

— Это что у старого солонца?

— Да. Вечерело. Уже потемней, чем сейчас, было. Передо мной солонец, бойница. Вижу, карабкается зверь по склону распадка. Жуть меня взяла. Вот и бросил пулю.

— Бросил, значит.

— Ну, кинул...

— Метко кинул.

— Попал...

— И сразу туда?

— Сразу.

— Это после жути-то?

— Увидел, будто не зверь. Пуще испугался.

— А сколько пантов убил?

— Третьего изюбра ждал.

— Дождался?

— Какая уж потом охота...

— Один сидел-то?

— Один, — заторопился Комолов. — Один. И испугался. Жуть обуяла. Глухая, неходовая ночь шла.

— Чего же сидел? Уходил бы в балаган.

— Я... я потом уж разобрался. Я...

Егерь не стал дослушивать длинное объяснение Комолова, а как-то невольно для себя подумал: о чем бы вот в такой ситуации стал спрашивать, чем бы поинтересовался Семен Васильевич? Не однажды брали они вместе браконьеров в тайге...

«Однако не убийц! — остановил себя Зимогоров, но сдержал всколыхнувшуюся в сердце ярость. — Не о том

думаешь, егерь. Тут, как Семен Васильевич говорил, тактика нужна. «Тактика»... Размышляй, егерь, размышляй».

— Где инспектор был? — обратился егерь к Комолову. — Где ты его...

— Вон там, — поднял Антон связанные руки.

— Идем.

Они шли довольно долго и остановились у края крутого склона распадка. Внизу шумел ручей, а по откосу каменной осыпи торчали редкие кусты.

— Здесь.

— Где? Точно?

— Руки развяжи. Со связанными не спуститься.

— Черт с тобой, — сказал Федор, вздохнул и освободил запястья Комолова.

— Подожди, — егерь одним ударом топорика, снятого с пояса, наискось, почти без звука срезал лещину толщиной в руку.

Затем они спустились по круче.

— Вот тут, по-моему.

— Тут или по-твоему?

— Дождь все размыл. Тут, однако. Чего уж там? Я же признался.

Федор ничего не ответил и от места, где забил колышек, глянул вниз на подтопленную пойму ручья. Очевидно, Антон перехватил его взгляд:

— Вода высокая еще. Не видать того места.

Тугие перевитые струи ручья катились стремительно, и сколько ни пытался Федор представить себе, что там, под этой мутной водой, присыпанное галечником, лежит сейчас тело его друга, Семена Васильевича, воображение отказывало. Он видел бегущую воду, знал: под ней есть каменное дно, и дальше был только камень и камень — хоть до середины земли — один камень и ничего больше.

«Ждать придется, пока вода спадет. Не достать иначе», — даже в мыслях Зимогоров не допускал, что увидит Семена мертвым. И, вспомнив, что сидьба на двоих, спросил:

— В сидьбе ты справа от входа лежал?

— Справа.

— А может, слева?

— Справа. И теперь котомка там валяется. Ну и что?

— Справа так справа.

— Чудак ты, Зимогоров. Что, показать тебе, как я в сидьбу забрался?

— Ты Расскажи.

— Шел, шел...

— Ясно.

— Дошел... Карабин в правой.

— Так.

— Стал снимать котомку. Скинул с левого плеча.

— Так.

— Перехватил карабин в левую. Снял котомку с правого и положил ее правой рукой справа от входа. Теперь все?

— Все, — сказал Федор и, прикрыв глаза, представил себе сидьбу, в которой он, правда, не бывал лет пять, поди. Она устроена у солонца, примерно в километре отсюда. Подняться к ней можно поверху. Но это длинный путь. Короче — по правой крутой стенке распадка. Так и сделал, очевидно, Семен Васильевич. Поднявшись, надо идти вверх по косогору, метров сто пятьдесят, и прямо упрешься в лаз сидьбы. Она устроена меж корней огромной липы, второй такой в округе нет. Вполне можно разместиться двоим. Если залечь слева, то в бойницу виден почти весь солонец и дебри справа, откуда обычно идут изюбры. Слева место удобнее. Почему же Комолов залег справа? Если лечь справа от лаза, то дальних подходов к сидьбе не видно, их загораживает толстый корень липы. Правда, тогда ветер, дующий обычно снизу, не «понесет» запах человека на подходящего к солонцу зверя.

«Однако... — остановил себя Федор. — Однако человек, лежащий справа от входа, пожалуй, обернувшись, не увидит в отверстие лаза склона распадка, по которому шел Семен Васильевич... Не увидит?»

Зажмурившись, Федор постарался в точности представить себе, действительно ли нельзя увидеть в отверстие лаза склон распадка, по которому поднимался инспектор, если лежать справа от входа. Егерь разволновался. Память словно отказала ему. Он не мог увидеть из положения, в котором находился Комолов, склона распадка! Никак не мог.

«Я не могу? Или это невозможно? — спросил себя Федор. — Все, все надо проверить... Не мое дело? Следователя? Да. Но когда сюда прибудет следователь?»

Через полторы-две недели. А если кто в сидьбу ненароком забредет?»

И Федор поднялся:

— Идем, Комолов.

— Идем, идем, — с готовностью ответил тот. — Только попусту. Ничего там такого нет.

— А мне ничего «такого» и не надо. Но посмотреть не мешает.

Солнце зашло, но в поднебесье еще было много света. Обильная роса кропила их лица. Переполненный влагой воздух казался ватым и не освежал. Антон быстро устал.

— Потерпишь.

У липы, под комлем которой была устроена сидьба, Федор сказал:

— Давай.

Пригнувшись, Антон пролез меж корнями в логово. Федор — за ним.

— Твоя сидьба?

— Ну.

— Такой свет тогда был, не темнее?

— Такой же свет. Точно такой, — не задумываясь, ответил Антон. — Слышал, охотился ты в здешних местах. Только про сидьбу мне другое говорили.

— Кто?

— А вот... Не все ли равно? — усмехнулся Комолов.

Он удобно устроился справа от лаза, подложил под мышку свою котомку, словно собирался провести здесь время до полуночи, когда звери обычно являются сюда полакомиться соленой грязью.

— И стрелял оттуда? Со своего места?

— Отсюда, Зимогоров, отсюда.

— Вот и посмотрели, как было дело, Антон, — задумчиво протянул Федор. Все было верно. Комолов говорил правду. Сомневаться не приходилось. Со своего места он стрелял. И попал.

«Что ж я завтра-то Стеше скажу? — с тоской подумал Федор. — Как разговор поведу? Страшнее ножа ей правда...»

— Неужели тебе...

— Не жалко? Так что поделаешь... — произнес Антон. — Случилось так случилось. И все тут. Только меня вам под расстрел не подвести.

«Почему Комолов все наперед продумал? — спросил себя Федор. — Время было? Жестокий он и черствый, как бревно, которому все равно, на кого падать, кого давить? «Не подвести под расстрел»... Слова-то какие! Бывалого человека. И почему такая уверенность в безнаказанности?

— Тебя, Комолов, значит, под расстрел не подвести. Заговорен, что ли?

— Слово, выходит, знаю... Закон называется.

— Да-ак, — крикнул Федор.

— Вот тебе и «дак».

— С медведем здесь советовался?

— И без медведя было... — запнулся Комолов, — времени достаточно. Не то вспомнишь, Зимогоров, когда дело до такого доходит.

— Да, смекалки тебе не занимать... — глухо проговорил егерь.

А Комолов убежденно:

— Я правду говорю, Зимогоров. Все как есть! Стреляно из моего карабина. Нарезы по пульке сличите. Можно и экспертизу не делать. Сам во всем признался. Чего ж еще?

— Вера — дело великое... — кивнул Федор и сдержанно проговорил: — Ладно... Пошли отсюда.

Выбираясь через лаз, Комолов вдруг подумал, что ему признаться в несовершенном убийстве было легче, проще, нежели в том, что пуля, которую найдут в теле инспектора, окажется егеревой. Подобных больше ни у кого нет. Это точно. И Гришуня подтвердил, узнав, что обойму Антон стащил у егеря из стола. Убойные! Ведь как однажды обнизил прицел, а зверя все же свалил. Антон увидел эти патроны в неплотно задвинутом ящике стола. По их внешнему виду сразу решил, что они особые. А егерь, которого вызвала из комнаты жена, ничего и не заметил. Да и как заметишь, когда в ящике таких патронов добрая сотня валялась. Не пересчитывал же их Зимогоров после того, как Антон отметился у него на кордоне.

Федор вылез вслед за Комоловым. Тот двинулся было дальней дорогой, но Федор удержал его:

— Давай, Антошка, к распадку...

— Пошли.

Они спустились чащей в обход распадка и издали меж толстых стволов увидели костер и белый

дым над ним. Огонь в сгущавшейся темноте светил ярко.

Идти было трудно, и не только потому, что ветви цеплялись за ноги...

VIII

— Где это вы пропадали? — спросила Стеша, когда Зимогоров и Антон вернулись к костру у балагана.

— Да вот, Комолов исповедовался. Безобразил он...

Стеша, увидев связанные руки Антона, удивилась и возмутилась так, что не дослушала объяснения егеря:

— Зачем это?

— Так надо, — не глядя жене инспектора в глаза, ответил Федор. — Иначе не будет.

Стеша выпрямилась и гордо сказала:

— Семен этого не позволил бы.

— Иначе не будет...

— А когда Семен сюда вернется?

— Не знает ничего Антон. Ничего толком не знает. Вы не... не особо того... переживайте. Тайга...

«Конечно, тайга... — подумала Стеша. — Вернется Семен, коль вещи его здесь. Подождем. Разберется с безобразиями Антона и придет».

Антон выглядел как двоечник, бравирующий своим незнанием, и лишь поэтому Стеша решила пока не спорить с Зимогоровым, искренне считая, что связал он Комолова сгоряча.

— Давайте чай пить, — предложила Степанида Кондратьевна, будто ей каждый день доводилось чаевать рядом с браконьерами и егерями, которые их задержали.

Веселый костер, зыбкий свет и тени, тьма вокруг настроили Стешу на мирный лад, и она считала, что не оставит же Федор за ужином Комолова со связанными руками.

И Антон словно понял ее:

— Не убегу я, Федор Фаддеевич. Честное слово, не удеру.

Что-то очень не нравилось егерю в тоне Комолова. Бесшабашность ли, бездумие, но очень не нравилось. Скрепя сердце, впервые за много лет уступая женской,

конечно же, просьбе, егерь снял путы с Антоновых рук.

Глянув на Зимогорова, Стеша заметила, что тот спал с лица, меж бровей и у губ просеклись морщины. Она подумала: «Как же глубоко переживает егерь всякий случай в тайге!»

— Ведь я тоже виновата в происшедшем, — вслушиваясь в слова, которые сама произнесла, сказала Стеша.

Поперхнувшись горячим чаем, Федор поставил кружку на землю.

— Ух ты... горяч...

— Да, да. Я тоже виновата. Понимаешь?

— Трудно мне понять такое... — сказал Федор и подумал, пусть говорит, лишь бы не замыкалась, не думала о том, сколько дней Семен Васильевич в тайге, не приходило бы ей на ум самое плохое. В молчании же могло таиться что угодно, даже догадка. Ведь бабы, они верхним чутьем берут.

— Ничего не трудно. Разве трудно сообразить, что часть вины Комолова лежит и на мне, на его педагоге.

— Вот вы о чем, — закивал Федор. — Тогда всех учителей надо к ответу тянуть. Мол, не умеешь воспитывать — не берись.

Егерь нарочно высказался очень общо, чтоб учительница могла возразить на огульную хулу.

— Но ведь такие случаи единичны.

— Тогда виноваты не учителя.

— Нельзя так рассуждать, Федор Фаддеевич.

«Оно само собой нельзя, — подумал Федор. — Да что поделаешь... Приходится». И упрямо продолжил:

— Значит, он сам виноват... Слишком общо все у вас, ученых.

— Э-э, — протянул Комолов. — Просто человек — животное. Млекопитающееся из породы узконосых обезьян.

— Во-первых, Антон, млекопитающе-е. Во-вторых, не из породы, а семейства.

«А возможно, и хорошо, что учительница села на своего конька? — спросил себя Федор. — Она признала в нем ученика... Ладно, ладно, поглядим-посмотрим, как дальше пойдет. Мне главное — доставить «этого» в район. Там уж Стеша не вольна будет расправиться с этой узконосой обезьяной, и я тоже».

— Чайку бы дали, — протянул Комолов.

- Полегчало? — спросил Федор.
- Отошло вроде.
- И давно ты спиртом балуешься?
- Так... попробовал...

Лицо Шуховой очерствело:

- Где ты взял эту гадость, Антон?

— В магазине. Мамаля и положила. На случай. Не ученик я, так нечего в мою жизнь лезть! Понятно?! Сам отвечу. Сам...

Федор проворчал:

- Помолчал бы...

- А ты опять ударь! Чего боишься? Боишься!

- Как это «опять ударь»? — встрепелась Стеша.

Но, приглядевшись к сидящему в тени Антону, увидела ранку у угла рта. — Это самосуд!

Стеша поднялась и, глядя в сторону, добавила:

— Семен был бы недоволен вашим поведением, Федор. Мы не имеем права так с ним обращаться.

Губы ее дрожали.

- Законник! — Федор покосился на Комолова.

— Он прав, — кивнула Стеша. — Мы должны сохранять свое достоинство. Не опускаться. Иначе наказание, которого он заслуживает, будет просто местью. Я не помню точно, но об этом тоже говорил Семен.

— Плевать мне, как вы со мной обращаетесь, — Комолов сел и подвернул ноги. — А тронете — ответите. И за это ответите!

Стеша была ошеломлена поведением Комолова. «Но ведь я и не предполагала, что Антон окажется браконьером! — сказала она сама себе. — И потом здесь, в тайге, могло произойти нечто такое, чего мы еще не знаем».

— Неча ему язык распускать! Будет! — гаркнул Федор, боясь, что Антон проговорится об убийстве инспектора.

Стеша схватила Зимогорова за руку:

— Нет, нет! Прошу тебя. Не надо. С ним что-то случилось. Он не понимает, что говорит. Он не в себе.

— Достоинство... Достоинство! — выкрикнул Комолов. — Что, оно залечит мне губу, которую разбил Федор? Нет, не залечит.

— Но и не достоинство ударило тебя. Не оно! Вот в чем дело. Разве это не понятно?

— Если оно ничего не может сделать... — ухмыль-

нулся Антон. — Если оно ничего не может — чего о нем говорить? А это «достоинство» не может ни-че-го.

— Значит, ты не понял! — удивилась Стеша. — Как же так — «ничего»?! Оно не позволит вам совершить поступок, недостойный человека. Достоинство уберезет вас от подлости, низости, преступления. Этого мало? Так ли мало? Федор вел себя недостойно. Согласна. Но ведь и ты, Комолов, тоже! Получается, если ты, Комолов, вел себя недостойно, потому что тебе доверили все живое в тайге, а ты совершил бесцельное убийство, то тебе — можно. Позволено! Если Федор, возмущенный твоим преступлением, ударил тебя, то он совершил справедливое, с его точки зрения, насилие. Кто виноват? Кто прав? Ты, убийца, или ты, Федор, ударивший убийцу?

— Оставьте меня, пожалуйста... — хмуро попросил Антон. — Я, может, спать хочу... Утро уже.

«Утро?» — удивился Федор. И только тут обратил внимание, что карабин Комолова стоит, как и стоял, у входа в балаган.

— Надо оружие его осмотреть, — сказал Федор, поднимаясь. — Совсем все из головы вон...

— Чего карабин осматривать? — взволновался Антон. — Я во всем признался... И больше ни одного выстрела не сделал! Не сделал! Нечего смотреть!..

Егерь странно глянул на Комолова, а тому было мутно, тошно от того, что вот сейчас Федор увидит в магазине карабина обойму, которую Антон стащил у него из стола. И не героем, спасающим друга, Гришуню, от гибели, а мелким воришкой окажется он в глазах всех. Ведь не хотел, не думал брать Антон эту проклятую обойму. Стол был открыт, в ящике они валялись, эти чертовы убойные патроны, необыкновенные, с синей головкой. Взял посмотреть только, а тут егерь. Ну и сунул обойму в карман: неловко без разрешения по чужим столам лазить, а выходит — украл. И ничего уж теперь не объяснишь.

Подойдя к балагану, Федор увидел в открытую дверь разошедшиеся по шву олочи, чужие — меньше, чем Антоновы, чуток, но поменьше.

«Ладно, потом спрошу, откуда взялись, — решил Зимогоров. — Сначала карабин. Как это я забыл о нем... Да и не мудрено!»

Привычным движением схватив ложу карабина, Фе-

дор другой рукой стукнул по стеблю и открыл затвор. Из магазина поднялся готовый к подаче патрон с синим оголовьем.

Егерь онемел...

IX

Семен очнулся. Голова трещала. Мелкие камни впились в лицо. И на спину давила земля.

Инспектор не сразу сообразил, что лежит ничком. Багровые кругиплыли перед глазами. С каждым мгновением они светлели, словно раскалявшееся железо. В ушах стоял уже не гул, а звон, тонкий, раздражающий мозг. Сел, сбросив тяжесть со спины.

Инспектор дышал глубоко, вздохнул, не чувствуя ни ночной прохлады, ни аромата и густоты воздуха. Ощущения пришли к нему через несколько секунд. Почти одновременно с прозреньем. Взгляд уперся в крошечную темь, огненные круги растаяли.

Звон в голове стих, и Семен услышал переливчатое журчание ручья.

«Где я?.. Почему?..» — он не спрашивал себя, он как бы утверждался в реальности своего существования.

Потряс головой, выдохнул:

— Жив... Живой. Кто ж меня прикопал?

Пошарил ладонями во тьме, нащупал твердый склон. И поднялся — до удивления легко. Сел на жесткий каменный склон. Потянулся к поясу. Пистолет на месте. И то, что пистолет оказался в кобуре, окончательно убедило его, что он действительно жив, видит тьму ночи, слышит ручей.

«Карабин... Он, наверное, где-то тут, — подумал Семен, но искать сейчас же ему очень не хотелось. — Подожди. Отдышусь. Потом».

И он вспомнил; гупой удар в спину, звук выстрела и как он сползал вниз по крутому склону распадка...

Семен чувствовал себя опоенным и удивлялся ленивости своих мыслей. Каждая существовала как бы сама по себе. Всплывала на поверхность сознания и сразу же исчезала, и инспектор был не в силах задержать ее, сосредоточиться на ней.

Сначала он объяснил свое состояние необычностью условий, в которых оказался. Однако, вспомнив об

ударе в лопатку, о выстреле, Семен пошевелил мышцами спины, но не ощутил сильной боли. Место ранения онемело, словно десна после укола перед удалением зуба.

«Анестезия? — спросил себя инспектор. — Откуда? Почему? Стреляли с довольно близкого расстояния. Может быть, наугад? Пуля, вероятно, задела сук, ветку, потеряла убойную силу и ударила меня на излете?»

Семен Васильевич остался доволен тем, что ему удалось построить довольно длинную цепь логических рассуждений.

«Но при чем тут анестезия?» — мысль зашла в тупик. Стало досадно, что он не в силах найти какого-то приемлемого объяснения.

«Это ли важно? — спросил он себя. — Нет. Конечно, нет! Главное в другом. Если тебе посчастливилось выжить, иди той же дорогой. И будь рад, что можешь идти и можешь делать свое дело. Дисанги прав, жизнь нужна прежде всего для дела. Вот и у тебя, Семен, есть возможность доказать это. Рана — раной, и о ней потом.

Ты жив, пистолет при тебе...

Значит, тебя не обезоружили? А карабин?»

Инспектор спустился в неглубокую, вырытую, очевидно, дождевым потоком яму и, покопавшись в песке и гальке, нащупал карабин. Потом — фуражку.

«Очень важно, что тебя старались убить, а не завладеть оружием, — подумал инспектор. — А бинокль?»

Бинокль он тоже нашел в яме.

«Котомка и плащ в балагане Комолова. Комолов... Комолов... Он, выходит, стрелял? Где ж он сейчас? Что делает?»

Мысли прояснялись с каждой минутой, и Семен воспринимал это как удивительную радость. Инспектор снова отметил про себя, что двигаться он сможет свободно.

И тогда старший лейтенант решил: основное, что ему необходимо сделать прежде всего, — вернуться к балагану.

«Так вот и явиться? — остановил себя Шухов. — Что мне нужно узнать? Обстоятельства своего ранения? Да. Причину, почему в меня стреляли? И это. Но не только. Надо разобраться в сути дела. Смогу ли? Пока еще тот или те, которые решили меня убить, чувствуют

себя в безопасности. Спокойные они или нет — другое. Но в относительной безопасности они не сомневаются. Выходит, следили за мной.

Прав был Дисанги.

Но в чем моя ошибка? В том, что пошел один? Пошел я все-таки не один. Я не знал, что Дисанги так сразу сдаст после неудачной охоты. Возвращаться за кем бы то ни было поздно. Преступник улился бы...

Хватит рассуждать. Надо идти... Попробовать разобраться в происшедшем. Воскреснуть я могу в любую минуту. И это мой козырь».

Еще поднимаясь из распадка, Семен увидел поодаль свет костра и постарался припомнить окружающий рельеф, чтоб подойти как можно ближе и ничем не выдать себя. Он обогнул долинку, в которой находился балаган Комолова, и зашел со стороны кустов чертова перца, густых, почти непролазных. Обойти их стоило большого труда. Пришлось следовать за всеми капризными извивами растений, росших в виде размашистых полумесяцев, и не заблудиться в их лабиринте.

Он не мог знать, что поступает так же, как и Гришуня, о существовании которого инспектор и не слышал.

Устроившись у прогала в листве, метрах в пятнадцати от костра, Семен Васильевич увидел у огня двоих.

Взволнованный, в шапке, сдвинутой на затылок, Антон Комолов говорил, прижав руки к груди:

— Ты не представляешь... Ты представить себе не можешь, как я тебя понимаю! Григорий Прокопыч, не убийца вы! Не хотели вы убить инспектора. Я же понимаю. Вы не представляете, как я вас понимаю.

— Чего тут.. — отмахнулся Гришуня, потупив голову. — Понимай, не понимай — стрелял-то я. Спасибо за дружбу.

— Нет, так нельзя. Это не по справедливости.

Комолов покачивался из стороны в сторону как бы от сильного волнения и какого-то душевного восторга, понять который инспектор пока не мог.

— Чего тут... Справедливость... Кто станет разбираться? Убит человек, старший лейтенант милиции. Это пойми, Антоша! Да и кто тебе поверит?

— Мне-то и поверят! Молод, струхнул в сумер-

ках, когда шум услышал. Поверят, обязательно поверят! Ты не сомневайся. Услышал шум — кинул пулю.

— А ты шум-то слышал?

— Шум?

— То-то и оно. Не слышал. Какой там шум был? Не было шума. Ветки заиграли и будто медведь полез.

— Я так и скажу. Мне поверят.

— Надо же, — вроде бы не слушая Комолова, продолжал Гришуня. — Надо же так... И вся жизнь на-смарку, все дела и вообще... мечты. А как много хотелось сделать!

«Кто ж этот Гришуня, Григорий Прокопьевич? — спросил себя инспектор. — Не знаю, не видел, не встречал такого... Откуда он? И что такое «важное» делает?»

— Теперь — крышка! — продолжал Гришуня. — Кто поверит опытному человеку, что так обманулся?

— Не согласен? Не согласен со мной? — вскочил Антон.

— С чем? Ерунда...

— Не согласен? — крикнул в запальчивости Комолов и сжал кулаки, словно собирался кинуться на Гришуню. — Так я сам пойду и заявлю, что стрелял я! А ты... ты нарочно взял все на себя, жалея мою молодую жизнь!

— И я не старик.

— Тем более мне поверят! Мне-то, как ты говоришь, колония. Потому что несовершеннолетний. А тебе...

— А где доказательства? Где они, Антоша?

— Доказательства? Стрелял ты из моего карабина. По ошибке схватил. Перепутал. А я скажу — нет! Я стрелял из своего карабина, который выдавать мне было не положено. Подтирочка в документах сельсовета. С такими доказательствами мне и согласия твоего не нужно. Пойду и заявлю! И не видел я тебя и не знаю совсем. Совсем не знаю!

— Вот на этом-то тебя и поймают, Антоша, — казалось бы, ласково проговорил Гришуня, но взгляд, брошенный им на Комолова, был прощупывающим и холодным.

«Хорошо ведет игру Гришуня, — отметил Семен Васильевич, — не жмет, а незаметно давит. Не кнутом гонит в капкан — веточкой... Вот оно как!»

— Может, он живой был? — неожиданно спросил Антон, тупо глядя в огонь.

— Жив? Пуля в лопатку угодила — сам видел. Или нет?

«Психолог... Тонко, подлец, ведет игру... — подумал Семен Васильевич. — С ходу, пожалуй, так и не придумать. Готовился. Изучал парня. Жаль Антошку. Жаль вот таких, желторотых, что сами в петлю лезут. А ведь лезут. И героями себя считают. Спасителями! Эх, Антоша, тебя спасти надо».

Инспектор поморщился. Боль в спине разыгрывалась все сильнее.

— Слаб ты, Антоша, чтоб такое на себя взвалить. Слаб.

— Это не то. Это не слабость, Гришуня. Может, минутная...

— А вдруг «минутная-то» в самый трудный момент и захватит? Проклянешь меня. Волком взвоешь!

— Нет, — спокойно ответил Антон.

И Семен Васильевич понял, что это «нет» твердое и парень, боясь, что его уличат в минутной слабости, уже никогда и ни о чем не пожалсет.

— Скорее петлю на себя накинута, — сказал Комолов, — чем выдам тебя, Гришуня. Ты мне друг — и все. Даже не в том дело. Я себя не предаю, Григорий Прокопьевич. Понимаешь?

— Чего там...

— Жил я, жил... Примеривался все, что бы такое сделать и в своих глазах стать настоящим... Нам, детям, все говорят: «Нельзя, нельзя, погодите...» Не потому нельзя, что действительно нельзя, а дней каких-то до какого-то срока не хватает. Ерунда! Хватает!

— Чего уж там... Не пойму я тебя... Думаю, вот, когда с повинной идти... — Гришуня уже и не скрывался, подталкивая Комолова к окончательному шагу.

— Чем я помогу этому инспектору? — размышлял вслух Антон. — Поплачу с учителькой Шуховой? Она меня утюгом по башке тяпнет. Смешно... Может тяпнуть. Я ее знаю.

«Да, — решил Семен. — Стеша, пожалуй, долго раздумывать не станет...»

Рана на спине, у нижнего края лопатки начала ныть и саднить. Действительно, точно отходило обезболивание.

Инспектор пропустил несколько фраз, сказанных Антоном. Теперь Комолов выглядел очень довольным собой. Даже в тоне его почувствовались покровительственные нотки по отношению к Гришуню.

— Ты не волнуйся, Гришуня. Осмотри своих выдр и уходи... Если ты говоришь, мне года три-четыре в колонии быть, значит, так оно и есть...

— А мечты, а посулы этой Степаниды Кондратьевны, будто из тебя математик выйдет? И ее не боишься?

— Что ж... Зла я ей не делал. Не желал. А коли так получилось... — Комолов пожал плечами. — Если она права и ее надежды про... Ну, как... Если она не напрасно надеялась... Как сказать? Не выходит... Тьфу! Не стану я математиком. А сейчас главное — тебя спасти и выручить. И начинать жизнь надо с главного. Правильно?

— Хороший ты человек, Антон...

— Ты веришь мне?

— Верю, — сказал Гришуня. Он поднялся и положил ладони на плечи Комолова. — Если передумаете... Ты не торопись. Вот что... Через десять дней я буду ждать тебя на перевале у Рыжих столбов.

— Зачем?

— Там ты скажешь все окончательно.

— Не надо волноваться, Гришуня. Десять дней — слишком большой срок. И ты не знаешь Шухову.

— При чем здесь какая-то Шухова?

— Шухова — жена инспектора... который погиб. И снова мысли инспектора, затуманенные каким-то накатом, прервали слова Гришуни:

— Ты можешь выполнить мою последнюю просьбу?

— Да, пожалуйста! Только зачем?

Гришуня сделал вид, что обижен, очень недоволен Антоном. Тот поспешил согласиться:

— Хорошо! Хорошо. Мне все равно. Ты узнаешь, что ничего не изменилось. Можно, я тебе убийный патрон подарю. Поделю по-братски. У меня два осталось. Вот, — и, не сомневаясь в согласии, Антон дослал в ствол карабина с оптическим прицелом патрон, вынутый из магазина своего. — Этот покажу первому, кто увидит меня, и признаюсь в убийстве инспектора.

— Прощай, — с искренней, казалось, очень искренней дрожью в голосе проговорил Гришуня. — И до

свиданья. Только уж ты карабинчик-то как следует протри.

— Вылижу. Ты, Гришуня, к нему не прикасался. Помни! Прощай... И до свиданья! — Антон обнял Гришуню. — Я не буду у Рыжих столбов. Я знаю, что делаю. Не сердись, Гришуня. Я уверен — так надо. Так будет лучше.

«Зачем десять дней этому Гришуне? Антон, очевидно, понятия не имеет, где обитает его «дружок»! — подумал Семен Васильевич, поднимаясь и едва сдерживая стон. К спине словно прижали раскаленный металл, и боль свела рану огненной судорогой.

Во всем разговоре Гришуни и Комолова для инспектора оставалось непонятным, непостижимым даже, как это он, Семен, не убит наповал.

«О чем я думаю? — остановил себя инспектор. — Надо идти за этим Гришуней и доводить начатое до конца. Комолов никуда, пожалуй, не денется. А вот Гришуня... За ним надо идти».

Х

Держась за ствол, Семен оперся прикладом карабина о землю и постоял немного, стараясь притерпеться к боли. Она через некоторое время отступила, и инспектор, пропетляв меж зарослей с полчаса, вышел в сумрачный пихтач, сучья которого были увешаны длинными клоками сизого мха-бородача, а стволы покрыты лишайниками. Семен Васильевич решил не следовать за Гришуней по пятам, что в общем-то ни к чему, да и небезопасно, а наблюдать за ним издали.

По склонам увалов на пути к Хребтовой перелески чередовались пролысынами, поросшими густой высокой травой. Это облегчало наблюдение за Гришуней, но могло быть и так, что Гришуня все-таки захочет проследить, не идет ли за ним Комолов. Поэтому Шухов взял выше по склону. Судя по направлению, взятому Гришуней, тот шел к тому месту, где на карте инспектора обозначались костры, дым которых и заметил Шаповалов.

Взошедшее солнце разорвало туман. Часть его поднялась в поднебесье и стала облаками, белыми, оформившимися в причудливые фигуры. И чем выше

они поднимались, тем белизна их делалась ярче и на какой-то определенной высоте у облаков образовались более темные днища. Они-то и становились подобием платформ, на которых скользили тучи по определившимся воздушным слоям. И только у самой вершины Хребтовой туман сгустился в серую чечевицеобразную массу и, казалось, застыл в неподвижности.

Влажная духота выматывала силы Семена Васильевича, а их у него и так было мало. Чтобы сберечь силы, старший лейтенант, теперь уже твердо уверенный в неизменности направления, взятого Гришуней, двинулся прямо к оголовью Хребтовой, откуда было удобно наблюдать.

Гришуня чувствовал себя в полной безопасности. Потеряв его на довольно долгий срок из вида, Семен Васильевич совсем неожиданно приметил его в бинокль невдалеке у грота, где Гришуня соорудил, наверное, коптильню. Редкий дым, выползавший из-под скалы, быстро уносило и рассеивало меж двух сопок.

Обождая, пока Гришуня взял себе еды, инспектор спустился к пещерке. В ней дотлевал солидный костер, горевший, видно, давно, а в дыму на прутьях и жердях висела копченая изюбятина. Дров в костер Гришуня больше не подкладывал, мясо было готово, и инспектор «присвоил» себе килограмма три. Длинных, тонко нарезанных полос висело очень много, и Семен Васильевич решил, что Гришуня вряд ли заметит пропажу, если наведается сюда до того, как инспектор обнаружит склад спрятанных пант.

«Вот и началось, — с профессиональным спокойствием сказал себе инспектор. «Приглядеть за выдрами...» Тоже мне «научный работник». По всему теперь видать — обыкновенный гад-браконьер».

С предосторожностью покидая пещерку-коптильню, чтоб не оставить следов, инспектор подумал в шутку о необходимости отметить в рапорте факт «экспроприации» у «экспроприатора» — браконьера.

Выйдя из пещерки и сделав несколько шагов, Семен почувствовал сильное головокружение и прислонился спиной к камням, чтоб устоять. Боль, пронзившая его, была очень сильной. Семен застонал. От охотников он слышал: к ранам нужно прикладывать разлапчатые, о пяти «пальцах», листья нетронника, или, как его еще называли, «чертова куста». Добравшись до зарослей,

Семен нашел это растение и нарвал много веток. Подумав, он быстро сплел из них что-то вроде корзинки, положил в нее мясо, обернув его листвою. Потом он подсунил охапку листьев под рубаху на спине и обвязал грудь поясным ремнем, чтоб повязка не съехала.

Инспектор признал себя готовым к длительной заставе и отправился к примеченному ранее скалистому выступу, поросшему кое-где кедровым стлаником. Отсюда можно было, замаскировавшись, скрытно наблюдать за Гришуней.

Семен Васильевич добрался до места уже за полдень. Устроившись меж замшелых камней, откуда хорошо просматривались увалы Хребтовой и северо-восточная часть долины, где находился заказник, инспектор ощутил вдруг такую слабость, что пальцем не мог пошевелить. И очень хотелось пить.

Он оступел от слабости и боли настолько, что долго не мог сообразить: фляжка-то с крепким чаем болтается сзади у пояса. Он отхлебнул чаю, смакуя его во рту, и твердо приказал себе соблюдать норму — два глотка в час. Так, по его расчетам, фляжки ему хватит до вечера, а ночью придется спуститься к ключику, который, судя по карте, был километрах в двух, на противоположном склоне Хребтовой.

Солнце светило в лицо, и Семен Васильевич поостерегся пользоваться биноклем. Но и так было видно, что в разных концах долины и по увалам над участками тайги кружатся стаи воронья. Инспектор отметил на карте эти места. Их было девять.

«Ничего себе! Погулял Гришуня, — сказал про себя Семен. — Едва не годовой план промхоза по пантам «выполнил».

Семен попытался разглядеть в бинокль хибарку Дيسانги в дальнем углу долины, но напрасно. Ее загораживал отрог Хребтовой.

«Ничего, старик, держись, — подумал Семен, словно обращаясь к самому удэгейцу. — Мне вот тоже пришлось. несладко. Только выбрав дорогу, нельзя сворачивать. В канаву попадешь. А ты да и я не любим обочин. Хотя я и знаю: сделал все, что мог, для тебя и уверен — ты не обидишься, прости меня. На всякий случай...»

А о Стеше он не то чтобы не думал или не вспоминал; не то чтобы она отошла на второй план или за-

нимала первый, она просто была с ним, как его сердце, здоровое сердце, которого не ощущаешь и без которого невероятна жизнь.

«Конечно... — подумал инспектор, — Гришуню можно взять сейчас. Конечно, следователю будет достаточно, чтобы начать дело. А дальше? Следствие непременно упрется в тупик. Гришуня не так глуп. Он не раскроется. Он всеми силами станет сопротивляться этому. Да и один ли он тут? Вроде бы один. А если нет? Кто его сообщники?

Не знаю, как поведет себя рана. Пока она только чертовски болит. Может быть, листья «чертова перца» помогут мне справиться с болью. И нагноения не будет?» — Семен Васильевич поймал себя на том, что размышляет о ране, будто о чем-то существующем отдельно от него. Потом он решил, что, вероятно, все, забывая, начинают рассуждать о болезни в третьем лице, как о вещи самой по себе, и это обычно. И эта отстраненность болезни и боли, наверное, помогает человеку бороться.

«Медлить в моем положении, конечно, рискованно. Но, не зная, где Гришунин тайник и единственный ли он, я не разоблачу его полностью.

Терпи, инспектор, пока нет ничего такого «страшно-го»... А если тебе сделается совсем невмоготу, то тогда примешь другое решение. И станешь действовать иначе. Гришуня сейчас никуда не уйдет...»

Успокоенный этими мыслями, Семен Васильевич позволил себе уснуть...

Когда он проснулся, солнце ушло в сторону, чечевицеобразное облако над вершиной Хребтовой растаяло, исчезло.

Теперь, когда солнце светило сбоку, можно было воспользоваться биноклем и еще раз убедиться, что Гришуня почти целый день валялся у костерка, дым которого рассеивался и развеивался меж ветвями густых, нависших со склона кустов. Такой костерок не заметишь ни сверху, ни сбоку. Разве только учуешь метров со ста запах гари. Но Шаповалов все же ухитрился засечь костры. Раньше Семену Васильевичу не приходило на ум, как же он-то приметил дым. Однако сейчас инспектор понял: Шаповалов обнаружил его вечером, когда воздух влажен и дыму словно больше. И еще: то были, вероятно, костры, на которых Гришу-

ня варил панты. Потому и отметил Шаповалов дымки не в один день и в разных местах.

Семен промучился целую ночь. Рана горела, голову разламывало, корежило тело. Ползком, с трудом ориентируясь, Семен добрался до ключа, напился вдоволь и набрал воды.

Второй день прошел спокойно.

Гришуня, очевидно, ждал кого-то. Он по-прежнему лежал у костерка, разгоняющего мошку, никуда не отлучался. Похоже было, что он уже подготовился к уходу. Ждал и Семен Васильевич, потому что задерживать Гришуню без пантов бессмысленно, а искать их на всей площади заказника — занятие почти безнадежное.

Третий и четвертый дни ожидания показались Семenu Васильевичу тягостными. Пятый день инспектор запомнил потому, что жар в спине и опухоль на лопатке стали вроде бы спадать.

К вечеру разразилась гроза, но ливень особенно бушевал в долине. Тучи вились и вращались, словно бегали друг за другом. Однако все проходило в стороне, где-то над далекой рекой. Семен подумал: «Не приведишь мне самому попасть под это крыло тайфуна».

На седьмой день Семен проснулся от звука дальнего выстрела.

Было раннее утро. Эхо в долине, наполненной туманом, не раскатилось. Звук казался совсем слабым.

«Эх, расслабился, инспектор!» — ругнул себя Шухов и вскинул к глазам бинокль. Он сразу увидел стадо изюбриц, выскочивших на чистый увал. Казалось, животные летят, не касаясь копытами земли. Так стремителен и легок был их бег.

Потом из чащобы выскочил пантач, подался вверх по увалу. Широкий мах животного тут же сделался странным. Оступившись, пантач рухнул со скального выступа.

«Ну и нагл Гришуня! — обозлился Семен. — Надо брать. Пока я Федора в помощь дождусь, он тут такого натворит... Может быть, Гришуня не один? А какая разница? Нечего мне в инвалидах отсиживаться. Жив — вставай и иди. Иди, инспектор. Должность у тебя такая!»

Он встал и, опираясь на карабин, словно на посох, пошел, придерживаясь закраин чащоб, в сторону увала,

где свалился пантач. Пробираясь сквозь дебри Семену явно не доставало сил. Чтоб пересилить боль, он начал корить себя. Мол, по собственной торопливости нарвался на пулю браконьера, хотя прекрасно понимал: замысел Гришуни созрел не в момент, и тот, вернее всего, следил за его продвижением по долине. Пеняй на себя, не пеняй, инспектор в этом смысле был приговорен. Так ли, или иначе Гришуня осуществил бы свой умысел, потому как выхода другого у браконьера не было. Что заставило Гришуню пойти на такую крайность, инспектор не знал.

А вот, вспомнив, что Гришуня выстрелил по изюбру пулей Комолова, Семен Васильевич даже прибавил шагу, хотя воздуха не хватало, и сердце билось, казалось, под самой глоткой. И еще Семен Васильевич рассчитал: одолеет эти два километра, отделявших его от убитого изюбра, до того, как Гришуня вырубит панты и разделяет тушу. Если он станет ее разделявать. А если и нет, то и тогда он все-таки задержит браконьера.

Каким образом — дело особое. Гришуня вооружен... Но, коли он подставил вместо себя Комолова... Готовил, определенно готовил его к этой возможной роли, то, значит, хочет выйти из тайги без «мокрухи». И, не зная, очевидно, Шухова в лицо, примет его не за воскресшего, а другого старшего лейтенанта милиции. Тогда он вряд ли решится бить в упор. Гришуня не сумасшедший, чтоб едва и не наверняка отвязавшись от одного выстрела по инспектору, взять на себя второй. Тем более «второй» старший лейтенант не может не знать о судьбе первого.

«Оно, рассуждать за Гришуню, или как его там, можно сколько угодно, — сердясь на себя, подумал инспектор. — Не предполагал же я даже после всего случившегося, будто гад этот настолько опустил, что и бьет оленей ради выстрела!»

Тут он, ожидая встречи с Гришуней, вошел в опушку и двинулся за кустами. Но двигался он по-охотничьи бесшумно и осторожно, держа наизготовку карабин.

Ярко-рыжую с сероватым отливом тушу изюбра он увидел меж кустов еще издали. Зверь лежал у самой закрайки. Он словно отдыхал, вытянув и чуть откинув к спине красивую голову на крепкой мускулистой шее. Пара молодых, по три отростка рогов была цела. Браконьер не вырубил их только потому, что они уже не

годились на панты. Серая шкурка на них полопалась, обнажая светлую кость.

Правее, чем подошел к оленю инспектор, из зарослей вел след — зеленая тропка в серебристой росной траве. От поверженного зверя след уходил прямо по увалу вверх.

«Ушел Гришуня, — понял инспектор. — Стрельнул, глянул и ушел... Сразу за ним идти — не могу. Выдохся... Куда ж Гришуня кинул пулю? Он не свалил оленя, а ранил. За оленем-подранком лучше не ходить, непременно уйдет. А этот свалился, словно спелое яблоко с ветки. Да, видимо, дело в пуле. В «убойной пуле», как говорил Антон. Чего ж она меня помиловала? Вот отдохну и посмотрю».

Семен присел на валежину. И тут же над ним столбом завилась мошка. Но он только отмахивался. Сквозь звон мошки он слышал бархатное гудение оводов, слетавшихся к туше изюбра.

Из чащобы, где отдыхал Семен, виднелась вершина Хребтовой, лишенная растительности, лысая и поэтому светлая — белели обнаженные камни. Правее открывался перевал, поросший редким пихтачом и елью, наглухо перекрываемый непролазными сугробами зимой. Через него наверняка и собирается уйти Гришуня.

Семен Васильевич представил себе, как он, отдохнув, задержит Гришуню. Конечно, человек, назвавший себя Комолову «Гришуней», не станет сопротивляться. А зачем? Подумаешь, один случайно убитый изюбр! Все станет отрицать браконьер. Все. Самое очевидное...

Инспектор вздрогнул. То ли в глазах у него зарябило, то ли тень упала на распростертую тушу оленя, но Семену почудилось, будто зверь дернул ухом.

«Мошки видимо-невидимо. Лезет в глаза. Вот и мерещится всякое», — решил было инспектор.

Ухо лежащего у опушки изюбра снова дернулось. Потом еще, еще. Будто потянулась одна, другая нога.

Открылись темные глаза, опущенные густыми черными ресницами. Дрогнули ноздри.

Олень поднял голову, увенчанную изящными рогами. Под червонного золота шерстью зверя напряглись мышцы. Тут же олень, озираясь, повернулся с бока на живот. Черные влажные ноздри его затрепетали, зашевелились усы, и было видно — каждая черная усин-

ка двинулась вперед к поздравкам, помогая им принюхиваться.

«Это ж мое чудесное спасенье, которое я наблюдаю со стороны, — сказал себе Семен. — А ведь вижу такое не впервые...»

Изюбр вскочил. Но, словно лишь родившийся телок, стал на широко расставленные ноги, неуверенно и неловко. Затем помотал головой, как бы сбрасывая с себя дурман.

«Ты только не бросайся сглупу на меня, изюбр, — мысленно проговорил Семен. — Уходи, зверь. Не я тебя ранил лекарственной пулей, четвертой из обоймы Антона. Уходи подобру-поздорову...»

Точно учась ходить, олень начал по очереди переступать ногами. Снова затряс головой. И тут же напрягся, как струна. Ударил копытом оземь. Еще какой-то миг изюбр стоял, будто изваяние, широкогрудый, на стройных ногах, с гордо вскинутой головой. И затем одним прыжком олень одолел пространство, отделявшее его от скальной гряды. Потом он огромными прыжками проскочил по чистому увалу и скрылся.

«Вот сбежало первое и последнее вещественное доказательство, — улыбнулся Семен. — Единственная улика...»

Инспектор собрался было выйти из чащобы, но, глянув на перевал, увидел всадника на пегой лошади, спускавшегося в долину.

— Вот теперь мы, кажется, не останемся внакладе, — сказал Семен вслух.

Всадник спускался с перевала в долину не спеша, спокойно и уверенно. В бинокль Семен видел, что бордатый мужичонка с охотничьим ружьем за спиной не останавливается, не оглядывается по сторонам. Брошенные поводья покойно лежат на луке седла, пегая кобылка, выбирая уклон поположе, бредет знакомым путем. К удивлению Семена, мужичонка не поехал к тому месту, где провел эти дни Гришуня. Пегая лошадь двигалась вдоль зарослей кедрового стланика.

Семен бывал здесь с егерем еще во времена устройства заказника. И сейчас он понял, что всадник направился к пещере у скал.

«Эх, знать бы, что тайник там... Да и знай я о тайнике, чем мог бы доказать, что он Гришунин? А теперь не отвертеться ни ему, ни сообщнику».



Бесшумно пробираясь меж пышных кустов лещины, Семен подошел почти вплотную к площадке у пещеры. Он слышал фыркание лошади, которую донимали оводы, потом увидел и саму упитанную кобыленку, стоявшую у ствола ясеня. К нему было прислонено и ружье. Гришуня вышел из пещеры с мешком на плече.

— Думал, тоже мне... — сказал он громко. — Я тут все жданки съел, а он думал... Неделю, почитай, как панты ждут в городе.

— Руки вверх! — резко приказал инспектор, выходя из зарослей.

От неожиданности Гришуня выронил мешок. И замер, стоя спиной к Шухову.

Старший лейтенант не знал, где карабин Гришуни. Если в пещере, то им мог воспользоваться сообщник. Семен слышал его голос у выхода из подземелья («...моем селе тоже милиция есть и еге...») и вынужден был взглянуть в сторону выходившего из пещеры.

Гришуня звериным чутьем понял это.

Когда старший лейтенант, убедившись, что бородастый мужичонка безоружен, вновь перевел взгляд на Гришуню, то увидел: тот готов метнуть в него тяжелый охотничий нож, выхваченный из ножен на поясе.

Браконьер уже размахнулся.

Времени на вскидку не оставалось, и инспектор выстрелил из карабина от бедра.

Нож, который Гришуня держал за конец лезвия, с тонким звоном отлетел в кусты. Семен слишком хорошо стрелял, чтоб попасть случайно. Лошадь, видно, привыкшая к стрельбе, слабо дернулась, но не оборвала повод, привязанный к стволу ясеня.

— Бог миловал, — охнул мужичонка.

А Гришуня схватился левой рукой за раненую кисть и принялся нянчить ее.

— Твой верх...

Инспектор прошел к ясеню и взял мужичонково ружье:

— Карабин где?

— Там, — кивнул Гришуня в сторону пещеры.

— Сходи-ка, принеси, — приказал инспектор мужичонке, а сам на всякий случай стал за ясень.

Гришуня сказал:

— Ты его, инспектор, не бойсь. Он тебе карабин, как поноску, в зубах доставит.

Семен Васильевич не ответил, дождался, пока из пещеры не вышел мужичонка, державший карабин за ствол.

— Поставь у выхода. Нож свой там же оставь. А сам к Гришуне иди.

Мужичонка повиновался беспрекословно.

— Все панты здесь?

— Все.

— Все девять пар? — спросил Семен Васильевич.

— Откуда знаешь, что девять? — вскинув левую бровь, удивился Гришуня.

— Следовательно я и места покажу, где ты их уложил.

— Шутишь...

— Дело-то не шуточное. Тысячное, — сказал инспектор. — Давайте, навьючивайте кобылку, да поехали. Нам бы засветло добраться к балагану Комолова.

— Чего там... — насторожился Гришуня и принялся похлопывать лошадь по холке.

— Знаком с парнем?

— Сменил у него олочи... Разбились мои.

— И все?

— Это вы у него спросите. А мое дело вот, — Гришуня кивнул на мешки с пантами и немного повеселел.

XI

Увидев поднявшийся из глубины карабинного магазина патрон с синим оголовьем, Федор почувствовал, как горло его перехватил спазм. Егерь глядел то на Антона, то на пулю, и снова на Антона, который делал вид, будто целиком поглощен костром.

«Если Комолов стрелял этими парализующими, но не убивающими животных пулями, то Семен жив, — лихорадочно подумал Федор. — Доза препарата в пуле рассчитана на определенный живой вес животного... не более ста килограммов. Семен должен был очнуться минут через тридцать... Фу, ты... Знает ли об этом Антон?»

— Слушай, ты... — Федор, сдерживая готовый сорваться на крик голос, обратился к Комолову: — Слушай, ты... Пойди-ка сюда...

— Ну что там еще? — спросил Антон, не оборачиваясь к егерю.

— Иди, иди... — Федор справился с волнением и говорил негромко, почти ласково.

Стеша не обратила внимания на разговор егеря с Антоном. Она считала, что все давным-давно ясно, обговорено и разобрано.

Однако Комолов понял всю нарочитую фальшь ласкового тона и, усмехнувшись, поднялся. Он не дошел до егеря шага три и остановился так, чтоб Стеше было хорошо видно их обоих.

Федор повернул карабин с открытым затвором к Антону:

— Ну?

Антон опустил взгляд и, колупнув носком олочи землю, буркнул:

— Ваша... Нечаянно совсем, правда... Взял посмотреть, а тут вы и вошли...

— Верю.

Быстро глянув егерю в глаза, Антон переспросил:

— Верите?

— Да. Верю. — И, обратившись к Стеше, сказал: — Степанида Кондратьевна, нам в распадочек сходить надо. Чайку-то вы опять согрейте...

— Конечно, конечно... Только, Федор, пожалуйста, никаких вольностей.

— Что вы! Я помню о достоинстве, — отозвался егерь и добавил тихо, обращаясь к Антону: — Лопатку возьми.

— Я... — заикнулся Комолов.

— Бери... и идем, — очень спокойно сказал Федор. И пока парень, войдя в балаган, искал инструмент, тщательно осмотрел разбитые, расползшиеся по шву олочи.

Когда Антон с саперной лопаткой в руке вышел из балагана, Федор, не говоря больше ни слова, двинулся в сторону распадка почти той же дорогой, что и Семен в тот злополучный вечер.

И, не оглядываясь, Федор чувствовал, как Антон неохотно, пошаркивая, следует за ним. Все, чего хотел егерь, — это правды. Он овладел собой, и, что бы ни ждало его там, куда они направлялись, он чувствовал: не сорвется, останется достойным своего друга, который выручил его однажды, ох, из какой беды. Семь

лет назад Федор был обвинен в убийстве лесничего, и все было против него. Тогда его спасла вера Семена Васильевича в невинность егеря. Однако никакие силы не заставили бы Федора признаться в том, чего он не совершал. Антон поступал, по убеждению Зимогорова, наоборот. Пусть молодой, не совсем опытный охотник, но Комолов не мог совершить в тайге убийства по неосторожности. Да и не так внешне безразлично вел бы себя Антон в таком случае. Не скрываться бы он стал от Стеши, а бухнулся бы ей в ноги и повинился. А там — будь что будет.

— Узнаем... — бормотал Зимогоров. — Что от смерти, что от правды не уйдешь. Правда не кривой сук, ее и разогнуть можно.

— О чем вы, Федор Фаддеевич? — догнав егеря, на ходу спросил Антон.

— Далеко еще?

— Нет... — буркнул Комолов, томимый своими мыслями. Антон был твердо намерен спасти своего друга Гришуню. И вот он признался в убийстве, которого не совершал, а легкости в душе не ощущал. Пусто как-то, и тайга не мила. Все любимое в ней будто бы отстранилось, и он не чувствовал привычного отзвука в сердце в ответ на пошум ветра в вершинах и даже вроде перестал слышать, как каждое дерево лепечет что-то по-своему. Конечно, кедры ворчат, а осины цокают, ели посвистывают под ветром; однако любой кедр по-своему ворчит, любая осина цокает сама по себе, и сама по себе секретничает наушница-лиственница.

«Вот сейчас придем к месту, и все это кончится», — думал Антон, не отдавая себе отчета в том, что же такое «это все» и почему оно должно кончиться и как.

Селевой поток в распадке иссяк. Обнажилось разноцветное дно. Хилая взбаламученная струя текла вдоль отбойного берега.

— Здесь, — сказал Комолов. — Вот тут, — подтвердил он, окинув взглядом крутой берег и увидев на краю его приметную елку с яркими оконечьями молодых побегов.

Распадок был пуст.

«Конечно, Семена Васильевича смысл селевой поток. И где искать? Только, если случаем найдем... Хорош случай...» — подумал Зимогоров.

Егерь придиричиво осматривал не очень-то крутой

склон, надеясь ухватиться взглядом за какую-либо примету, которую мог оставить человек, подкошенный пулей. И не увидел.

— Должна быть, — убежденно сказал он сам себе. — Непременно есть.

Егерь стал карабкаться вверх по приглаженному ливнем склону, осматривая прошлогоднюю пожухлую травяную ветошь и редкие на каменистом отвале зеленые стебли.

— Если бы не ливень... — бормотал Федор.

Он поднялся выше, к кусту бересклета, который чудом держался малой толикой своих корней за почву, стал осматривать каждую ветку. Нашел две, сломанные так, как не могли их повредить ни потоки воды, ни ветер. Тогда егерь обернулся, но стал смотреть не вниз, а поверху и отыскал глазами старую липу. Зев лаза у ее корней был хорошо виден отсюда. И ни единая ветка по прямой не застила лаза.

— На этом месте или чуть выше по нему и ударили...

Выше по склону егерь не нашел ни на траве, ни на кустах других таких характерных изломов. Выйдя из распадка, Зимогоров нарубил вешек и поставил их там, где, как ему казалось, было необходимо. И лишь тогда спустился к Антону.

Жуть обуревала Комолова. Необъяснимое для него исчезновение тела, которое они с Гришуней оставили вот здесь, на этом самом месте, было куда страшнее, чем если бы Антон наткнулся на инспектора, убитого случайно Гришуней.

Федор спросил еще раз:

— Ты точно помнишь место?

— Да, — отозвался Антон, не глядя на егеря. — Вон елка молодая. На той стороне. А на этой бересклет. Все сходится.

— Карабин у него остался? — спросил Федор.

— Да. Зачем он мне нужен?

— А где он?

— Чего ко мне пристали? Я признался! Все! Ты... этот, как... общественный инспектор, ну и бери меня. Сажай.

— Многого хочешь, — сказал Федор.

— Чего, чего? Я — многого?..

— Вот именно — многого хочешь!

— Не понимаю...

— Вы так далеко припрятали тело...

— Присы... — Комолов глянул настороженно на Федора снизу вверх. — Почему «вы»? Я один был. Слышишь, один! Только я здесь был! Я!

— Ну, просто я вежливо, на «вы» обратился, — прищурился Зимогоров, отметив, что Антон едва не проговорился. И спросил сам себя: «Какой бы вывод из этого сделал Семен Васильевич? Прежде всего, что олочи, прошитые капроном, не случайно оказались в балагане. Бывал кто-то у Комолова, но говорить он не хочет».

И егерь спросил:

— Коли вежливость тебе не по вкусу, скажи, кто у тебя бывал.

— Бросьте вы!

— Как бы не так? А олочи чьи?

— А, олочи...

— За такое вранье мамку твою попросить стоит, чтоб ремнем поучила, а сажать — рано. Так чьи олочи?

— Ну... Забрел какой-то научный работник... Он знать ничего не знает.

Федор подумал, что Семен Васильевич остался бы им доволен, и повел расспрос дальше:

— А зовут-то его как?

— Не интересовался.

— Про науку спросил, а как зовут — нет?

Антон молчал, думая лишь об одном: как бы ненароком не сболтнуть имя Гришуни.

И, зная почти наверняка, что Семен Васильевич не одобрил бы такого вопроса, егерь все-таки задал его:

— Не перепрыгал ли твой дружок тело инспектора?

— Зачем ему?

— Выходит, знает дружок про все?

Комолов вдруг резко вскочил на ноги:

— Нет у меня дружка! Никого нет! И олочи мои. Я все это сделал. Я признался! И обойму украл у тебя. Ух, убойные пульки!

Антон старался разозлить егеря, но тот смотрел на него спокойно, и только чуть презрительно вздрагивали уголки его губ.

— Патроны, что ты взял, не убойные. Ими зверей усыпляют, чтоб измерить, взвесить да пометить. По-

мнишь, прошлой зимой мы с охотоведами тигров переписывать ходили?

— Так мы... Так я его... живым бросил?.. У живых, значит, изюбров панты с лобной костью вырубал? Живых?..

— Кто твой дружок?

— Не скажу.

— Узнаем, — твердо пообещал Федор. — Счастье твое... Вот ведь как, счастье твое, что стреляно патронами из краденой обоймы. Кто стрелял? Дружок?

— Нет у меня дружков. Нет! И все. Обойму украл я, стрелял я...

— Выгораживаешь?

— Я во всем признался. Я за все и в ответе.

— Твое дело, Комолов. Я думаю по-другому. Сходим в заказник, поищем там твоего дружка.

— Не пойдет с тобой Шухова. Здесь будет инспектора ждать. Что? А? — Антон решил использовать свой последний шанс: он был уверен — Зимогоров ничего не расскажет учительнице.

А Федор ответил:

— Пойдет, когда узнает, что случилось. Коли Семена Васильевича здесь нет, значит, он жив и пошел в заказник с твоим дружком знакомиться. Бежать тебе не советую. Да и сам как-нибудь за тобой услужу. И спрашивать тебя больше ни о чем не стану. Собирайся.

— Здесь он! — закричал Антон, думая, как бы оттянуть время выхода в заказник: Гришуня-то обещал через десять дней зайти. Значит, там он еще. Если они пойдут в заказник и встретят Гришуню, то друг его прежде всего подумает: Антон предал его! Антон, который жизнью поклялся, что выручит, отведет от Гришуни беду. В эту минуту он был готов разбить себе голову о первый попавшийся валун, только не видеть укоризненных глаз Гришуни. У Комолова оставалась маленькая надежда, что еще только через три дня Гришуня будет ждать его у Рыжих скал. Не встретив там Антона, Гришуня поймет, что его друг сделал так, как они договорились, и уйдет. Протянуть бы еще три дня!

Егерю было не до переживаний Антона. Федор думал о предстоящем разговоре со Стешей. Как ни верил Зимогоров: не погиб Семен Васильевич от усыпляющей пули, он, однако, не мог поручиться, что раненый инс-

пектор не погиб, обессилев при переходе. Да и куда Семен Васильевич направился, егерь толком не знал. И об этом обо всем теперь нужно рассказать его жене.

«Твердить о достоинстве одно, а держаться достойно — дело трудное, — размышлял Федор. — Не каждому по плечу. Понять это надобно... А достанет ли у Стеши на такое души? Может, все-таки молчком повести ее в заказник? Так ведь спросит она, почему мы туда идем! Эх, была не была...»

Щедрый костер, разведенный Стешей, дымил с такой силой, что с патрульного пожарного вертолета его можно было бы принять за начинающийся пал. Но егерь не упрекнул в этом Стешу. А та старательно кашеварила у огня и словно избегала глядеть в сторону егеря. И чай их ждал, и пшенка с копченой изюбрятиной булькала и паровала в чугушке. Судя по духу, еда была вкусна.

— Поговорить нужно, Степанида Кондратьевна, — сказал Федор, присаживаясь подле гудящего огня. Егерь скорее почувствовал, чем заметил, перемену в поведении Стеши. Она сделалась вроде бы собраннее, особо размеренными и четкими стали ее движения.

— Рассказывайте, что там натворил Комолов. По вашему виду заметно — не с добрыми новостями. Да и меня величать опять начали...

— Однако... — вздохнул Зимогоров, покосившись на Антона, устроившегося за его плечом. — Случай серьезный...

— Я слушаю вас... — Стеша поправила повязанный по-покосному платок. Крупные карие глаза ее оставались ясными, только губы были крепко сжаты.

— Вы о достоинстве тут говорили, — начал Федор Фаддеевич. — Так вот, соберите его, достоинство-то свое, в кулак. И не перебивайте меня. Терпеливо слушайте. Я знаю, вы человек достойный и Семен Васильевич, муж ваш, очень хороший человек... Так за ради него выслушайте и будьте терпеливы...

— Да-да... — сказала Стеша. — Да-да.

— Слова хороши после дела, Степанида Кондратьевна.

— Да-да... — кивнула жена инспектора.

— Стрелял Антон по вашему мужу... Вы о достоинстве своем помните... Если вы мне не простили самосу-

да, то себе-то вы простите куда больше. Слышите? Сядьте, сядьте.

— Да-да... да-да, — закивала Стеша и принялась ломать веточки, валявшиеся около костра.

Федор начал рассказывать, что знал и о чем догадывался.

Он остановился, будто запнулся, когда Стеша протянула руку к ложке, взяла ее и помешала варево в чугушке. И потому, что Стеша слушала, не перебивая, будто не о ее жизни шел разговор — не обо всей ее настоящей и будущей жизни, — егерь говорил грубее, чем следовало, и, понимая это, злился на себя и боялся, что вот-вот страшное спокойствие Стеши оборвется и она вскинется и заголосит. Но жена инспектора, слушая друга Семена, осторожно, стараясь не брякнуть, достала из котомки две алюминиевые миски, которые Федор взял, конечно, только из-за нее, сняла с огня чугунок и стала накладывать в них пшенку с кусками изюбятины.

— Нам надо пойти в заказник и искать Семена Васильевича там. Поняла? — закончил Федор.

— Да-да, — ответила Стеша, пододвигая егерю миску. — Вы очень громко говорили там, в распадке. Подошла я и все слышала. Мой муж, если он жив, не мог поступить иначе. А пере... живания... — они мои, и никто не может отнять их у меня. Только не в них дело... Надо идти — пойдём. Ты еду попробуй. Я вроде посолить забыла. И передай миску этому... Антону передай миску, — с некоторым усилием произнесла Стеша.

Когда Стеша заговорила, Федор все еще боялся, что она сорвется, что ей не хватит выдержки, как не хватило и ему, и сорвется она по-бабьи, со слезами, которые были для Федорова сердца — нож острый.

Он взял миску и ложку, попробовал ароматную еду, но никак не смог разобрать, действительно ли пшенка несолонна или посолена в меру.

— Вкусно, — сказал он и передал миску Антону, только сейчас почувствовав, что она огненно-горяча. — С утра двинем в заказник. Так, Стеша?..

— Не на ночь же глядя... — кивнула жена инспектора.

В серых клубах дыма над поляной вспыхнули косые закатные лучи солнца.

— Идет... Идет кто-то... — Федор вскочил, вглядываясь в неверный пестрый свет меж дальних стволов. Он уж хотел пойти навстречу, но, увидев груженую лошадь, остановился, подумав недоброе.

— Гришуня!.. Не я!.. — крикнул Антон и побежал.

За ним сорвался Федор. Он увидел позади кряжистого парня и мужичонку, ведшего на поводу навьюченную пегую лошадь, а следом за ними шел инспектор Семен Васильевич.

Стеша была бы рада встать, увидев мужа, да вдруг поняла — не сможет, ноги не удержат.

СОДЕРЖАНИЕ

ЦИКЛОН НАД САРЫДЖАЗ	5
КРЫЛО ТАЙФУНА	107

Николай Иванович Коротеев
ЦИКЛОН НАД САРЫДЖАЗ

Редактор **В. Фалеев**

Художник **Г. Метченко**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **В. Мещаненко**

Корректоры: **В. Назарова, Т. Пескова**

Сдано в набор 26/V 1976 г. Подписано к печати 21/IX 1976 г.
А05159. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 2. Печ. л. 6,5 (усл. 10,92).
Уч.-изд. л. 11,5. Тираж 100 000 экз. Цена 49 коп. Т. П. 1976 г.,
№ 269. Заказ 886.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типогра-
фии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

49 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ